Феликс МЕДВЕДЕВ

ОКНО В ИСТОРИЮ





Мои Великие старики







bhv

Окно в историю

Феликс Медведев

Мои Великие старики

«БХВ-Петербург»
2012

Медведев Ф. Н.

Мои Великие старики / Ф. Н. Медведев — «БХВ-Петербург», 2012 — (Окно в историю)

В книгу вошли интервью и воспоминания, посвященные судьбам «Великих стариков» ушедшего столетия. Среди героев книги – неординарные личности, своими деяниями и судьбой вписавшиеся в историю XX века: Габриэль Гарсиа Маркес и Михаил Горбачев, Шимон Перес и Илья Глазунов, Арсений Тарковский и Курт Воннегут, Александр Есенин-Вольпин и князь Тарановский, личный фотограф Л. Брежнева Владимир Мусаэльян и племянник Николая II Тихон Куликовский-Романов… С героями книги автор встречался на протяжении нескольких десятков лет. У многих брал интервью для прессы, с кем-то дружил. Книга логически продолжает предыдущий том «Мои Великие старухи», посвященный выдающимся женщинам XX века.

© Медведев Ф. Н., 2012
© БХВ-Петербург, 2012

Содержание

Предисловие 6
Глава 1. В Переделкине с Арсением Тарковским 7
В плену у Маруськи Никифоровой 9
Письмо от маршала Пилсудского 10
Юный Арсений признался Сологубу в своем «грехе» 11
Застал Цветаеву за стиркой белья 12
Обругал самого Рокоссовского 14
Рассыпанная первая книга 15
Первое впечатление бывает обманчивым 16
«Анна Андреевна, я не Дантес!..» 17
Хотел застрелиться из-за потерянной строки 19
Александр Фадеев: «переводы Тарковского надо немедленно издать!» 20
«Твой сын, – несчастный и замученный Андрей Тарковский…» 21
Глава 2. О Василе Быкове, Трава после нас 24
Москва, улица Воровского, 52. Союз писателей СССР, лавочка в сквере 26
Глава 3. Соблазн и шок по Сан-Лорану 36
«Моя работа – не искусство, максимум – ремесло…» 38
Глава 4. Габриэль Гарсиа Маркес в журнале «Огонек» 41
Глава 5. У Расула Гамзатова в Дагестане 51
До русской дороги и обратно или над и под крылом орла 53
В рабочем кабинете под трель телефонных звонков 57
Среди развалин древнего Дербента 59
На месте пленения Шамиля 61
В запасниках галереи 63
Во всемирно известном селении Кубачи[5] 64
По дороге в театр на вечер, посвященный 110-летию Гамзата Цадасы 65
В аэропорту – при прощании 67
Глава 6. Исповедь режиссера «Агонии» Элема Климова 68
Порой не на что было жить 69
Лариса предсказала свою смерть 70
«Агонию» разрешили через 10 лет после первого показа 71
Дочь Косыгина укоряла в упоминании имени отца 72
К. Кардинале и Ф. Кристальди предложили снимать «мастера…» 73
Глава 7. Сергей Михалков: шлюзы, а не кингстоны 74
Подождите меня, я скоро вернусь!.. 74
Цепь случайностей 78
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Феликс Медведев
Мои Великие старики

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Предисловие

«Мы – русские, и нас не сломит ничто…»

С героями этой книги я встречался на протяжении нескольких десятков лет. У многих брал интервью для прессы, с кем-то дружил, а «Великий старик» венгр Золтан Партош, фрагменты драматической судьбы которого завершают книгу, – мой родной дед – революционер, врач, поэт, романтик.

Я думаю, что сегодня, по прошествии немалого срока, интересны рассуждения мудрых «стариков» – писателей, политиков, актеров, историков – о переломном моменте истории – перестройке, да и о жизни вообще. Тогда, в конце 80-х, казалось, что старшее поколение не готово переиначивать жизнь, бросаться вместе с нами на баррикады. Теперь-то очевидно, что они, повидавшие жизнь, во многом оказались правы. Их честные, я бы сказал, часто провидческие мысли мне представляются очень актуальными. Не беспочвенны были их опасения, что, круша в революционном ажиотаже старое, можно уничтожить вечные ценности, и тогда потомки наши не будут «помнить родства». «В рубке с плеча можно многое потерять, и потерь этих нам не простят», – увещевал восточный старик Расул Гамзатов.

Интервью, вошедшие в книгу, намеренно печатаются в том виде, в каком они были написаны и впервые опубликованы, потому что в размышлениях моих героев ощущается атмосфера 80—90-х годов, то есть горбачевско-ельцинских времен.

Судьбы тех или иных персонажей настолько сложны и противоречивы, что присутствие их в книге может вызвать непонимание. Во время моей работы над книгой, на канале НТВ показали фильм о трех днях президента Ельцина, в котором была четко обозначена роль председателя КГБ В. Крючкова в драматических для России событиях августа 1991 года. Герой фильма вызывает резко негативное отношение как организатор путча против демократии и свободы. Стоило ли включать в книгу биографию этого человека? Я беседовал с ним десять лет назад, и уже тогда увидел изможденного болезнями пожилого человека, который отвечал на мои вопросы глухим, отрывистым голосом. По-человечески мне было его даже жалко. О некоторых моментах своей жизни он не хотел говорить, но интервью, я считаю, получилось интересным. И я оставил в книге беседу с одиозной личностью, свидетелем и участником многих закулисных страниц нашего прошлого.

Жизнь другого персонажа – А. А. Тарановского полна загадок, неясностей. Русский дворянин, князь, родившийся в Шанхае и проживший на чужбине много лет, работавший на советскую военную разведку, после войны вернулся на родину и был осужден на 20 лет за… шпионаж. Работая в «воспетой» Солженицыным Марфинской шарашке, он, высококлассный радиоэлектронщик, стал одним из создателей шифровального прибора для телефонных переговоров Сталина.

Князь Тарановский любил повторять: «Мы – русские, и нас не сломит ничто».

Все мои «Великие старики» – неординарные личности. Каждый сделал в жизни все, что мог. Каждый по-своему вписался в XX век, но можно твердо сказать, что все они оставили свой след в горячечной истории России.

Феликс Медведев

Глава 1. В Переделкине с Арсением Тарковским

«Судьба моя сгорела между строк…»

Декабрь 1987 года. Переделкино, маленькая комнатка Дома творчества. Я ненароком вторгся в размеренное бытие Арсения Александровича Тарковского и его жены, переводчицы Татьяны Алексеевны Озерской – адресата многих его лирических стихотворений, и в течение десяти вечеров, мучая вопросами, слушал рассказы о жизни и работе в литературе одного из лучших наших поэтов.

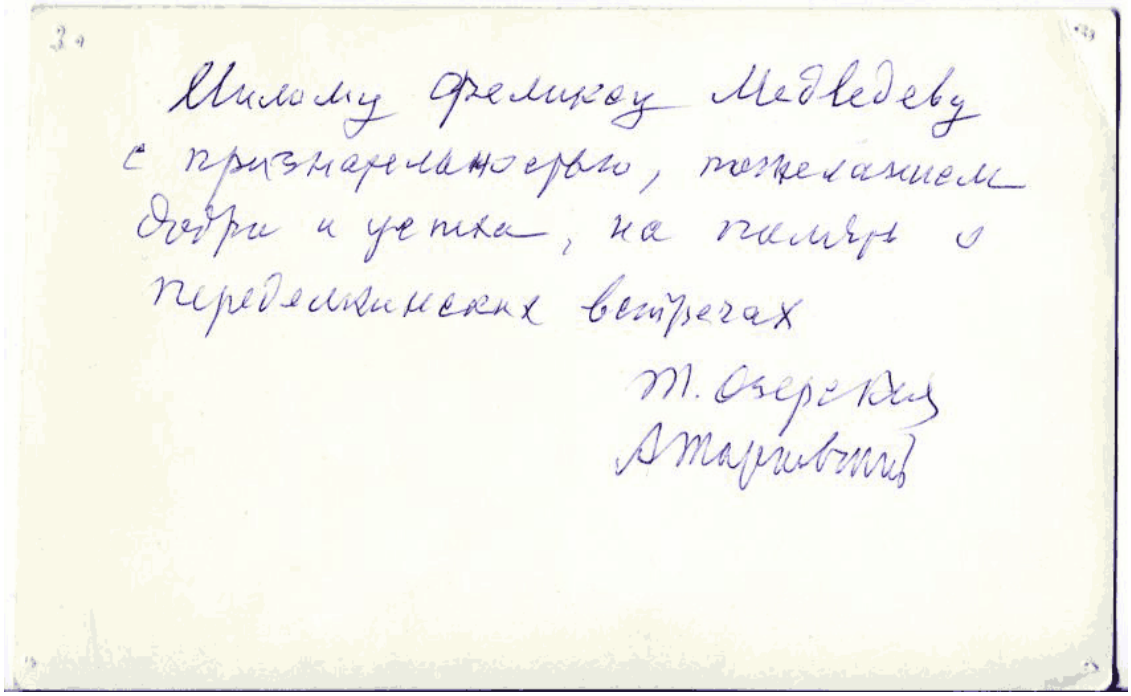
Он вскрикивал неожиданно и протяжно. К этому нельзя было привыкнуть, и каждый раз я не знал, как себя вести: молчать, сочувствовать, извиняться.

«Фантомная боль – ощущение отсутствующей ноги, – пояснила Татьяна Алексеевна. – Два года, с зимы 41-го по зиму 43-го Арсений Александрович пробыл на фронте. И почти все время на передовой».

Больше говорила Татьяна Алексеевна. Половина жизни Арсения Александровича прошла на ее глазах, и мне показалось, что она знает о нем почти все. Самому ему говорить было трудно: недавно перенесенная болезнь отняла много сил. Он быстро уставал, и тогда мы медленно поднимались на второй этаж, в кафе, где заваренный на травах чай возвращал ему чуточку бодрости.



С Арсением Тарковским и его супругой


Милому Феликсу Медведеву
с признательностью, пожеланием
добра и успеха, на память о
переделкинских встречах
М. Очеретин
А. Тарковский

Биография любого человека может быть интересна современникам, биография такого человека, как Арсений Тарковский, интересна вдвойне. Ибо все в ней волнует, заставляет оглянуться назад, задуматься над творчеством художника, написавшего строки:

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

В плену у Маруськи Никифоровой

…Гражданская война. Завладев городом Елисаветградом, атаманша Маруська Никифорова[1] допрашивала пленных в штабе, расположенном в бывшем кавалерийском училище. Бронепоезд стоял на станции. Город оцепенел, устав от голода и войны. Все знали, что атаманша мстит за смерть соратников.

Она сидела в кресле, опустив голову. Короткие прямые волосы, свисая, закрывали лицо. На столе – маузер. За спиной – охранник в тельняшке. Пленных предварительно содержали в камере, а потом приводили на допрос.

Перед атаманшей стоял мальчик лет двенадцати. Его привел здоровенный казак. Среди задержанных был и старший брат этого мальчика, бросивший бомбу в атаманшу.

– Я же сказала, не брать хлопчиков, – приподняла голову Маруська. – Разобраться и доложить!

Потом открыла ящик стола, достала ярмарочный витой, обернутый серебрецом леденец и, поглаживая мальчика по голове, протянула ему: «Гарный хлопчик…»

Казаку, приведшему ребенка, было дано распоряжение отвести его домой и взять от родителей справку, что довел благополучно. Проходя коридорами кавалерийского училища, где мальчику было все так знакомо, ибо здесь преподавал математику его дядя, казак чертыхался и, приговаривая «набрыдло всэ», жалобно стонал.

На стук в окно выглянула мать:

– Где же ты был, я весь город обегала… Не сидится дома, смотри, что творится кругом.

Мальчик признался, что был в плену, но постыдился сказать, что у Никифоровой, а казак многозначительно добавил: «Атаманша…» В записке, которую дала казаку сельская учительница Мария Даниловна, говорилось: «Арсения Тарковского, ученика 3-го класса гимназии Крыжановского, доставили домой благополучно».

[1] Маруся Никифорова – одна из предводителей анархистского движения, соратница Нестора Махно, действовала на юге России. Арестована и повешена в 1919 году.

Письмо от маршала Пилсудского

Отец будущего поэта Александр Карлович, самый любимый герой всей его жизни – народоволец-восьмидесятник. Более десяти лет протомился он в ссылке за Якутском, где вел обстоятельные записи об этой земле, ее людях, обычаях. О тех, кто волею судеб оказался рядом с ним. Когда в 1920 году буденновская армия взяла Елисаветград, Александра Карловича пригласили в особый отдел Первой конной армии, чтобы «объясниться» по поводу посылки и письма, пришедших на его имя из Польши. Письмо гласило: «Дорогой Саша! Я теперь неплохо устроился, я маршал Польши. Целую тебя. Приезжай, привози семью, коли женат. Твой Юзеф». «Судьбою правит случай», – бывший ссыльный припомнил человека по фамилии Пилсудский. – Неужели это он?

Времена были крутые, и Александр Карлович понимал, что значит получить вести от руководителя военными действиями против Советской России со стороны Польши. Он догадался взять с собой письмо Ленина, в котором Владимир Ильич, лично знавший А. К. Тарковского, просил его написать воспоминания о «Народной воле». Письмо это и спасло ему жизнь. Комиссар чуть ли не с почестями отправил адресата посылки восвояси.

– Письмо Ленина я отдал в Музей революции сразу же после смерти отца, еще в 20-е годы, – сказал Арсений Александрович.

Юный Арсений признался Сологубу в своем «грехе»

Небольшой украинский городок слыл центром культурной жизни. Сюда приезжали известные композиторы, музыканты, писатели. Выступал с лекциями Бальмонт. Одно из детских потрясений Тарковского – вечер знаменитых российских поэтов Игоря Северянина и Федора Сологуба. Шестилетнего мальчика родители взяли на этот вечер. До сих пор Арсений Александрович не может понять, почему ему понравился именно Сологуб. Но случай этот не остался без последствий. Юноша, всерьез начавший «жить стихом», решился на поездку в Ленинград.

– Мне очень хотелось еще раз увидеть Сологуба, поблагодарить его за стихи, сказать, что я помню его с детства. С трудом в незнакомом городе нашел квартиру знаменитого поэта. Когда я вошел к нему, он был грустен и одинок. Не заживала душевная рана после гибели любимой жены и друга Анастасии Николаевны Чеботаревской. За стеной назойливо играли гаммы. Я спросил Федора Кузьмича, не удручают ли они его. «Нет, – ответил тот, – мне не так одиноко». Поставил три прибора. Третий для той, ушедшей из жизни, – такой в доме был ритуал.

Сологуб расспрашивал меня о Елисаветграде, о родителях, о любимых поэтах, долго не отпускал и лишь под конец неожиданно спросил: «А сами-то вы стихов не пишете?» Я признался в своем «грехе». Он попросил почитать что-нибудь и, выслушав, вынес приговор: «Это очень плохие стихи, молодой человек, но вы не теряйте надежды, пишите, быть может, что-нибудь у вас и получится». Эти слова запомнились мне на всю жизнь.

Когда я уходил, хозяин дома подал пальто. Я смутился, а он пошутил: «Молодой человек, я подаю вам пальто не из подхалимства, а потому, что я член добровольного общества взаимного подавания пальто». И уже почти вдогонку предложил мне свою книжку, но взять ее я не посмел. Больше мы не встречались.

Застал Цветаеву за стиркой белья

О дружбе Тарковского с Мариной Цветаевой в короткий отрезок времени – с ее возвращения на Родину до отъезда в эвакуацию – ходят легенды. Одна из них окрашена в романтические тона. На самом деле все было так.

Через переводчицу Яковлеву Тарковский послал Цветаевой книжку стихов переведенного им туркменского поэта Кемине. Перевод ей очень понравился, и она написала в записке: «Вы все можете». Состоялось личное знакомство, перешедшее в пылкую, но кратковременную дружбу. Марина Ивановна жила тогда в маленькой комнате невдалеке от Главпочтамта. Тарковский приходил к ней в гости, и они отправлялись гулять. Цветаева любила ходить пешком, используя для этого любую возможность. Шагала она удивительно быстро, и спутник едва поспевал за ней. Беседовали в основном во время прогулок. Она подолгу рассказывала о своей любимой Праге, о парижской жизни, о превратностях судьбы.

Однажды Тарковский застал Цветаеву за стиркой белья. Позже родилось стихотворение:

Марина стирает белье.
В гордыне шипучую пену
Рабочие руки ее
Швыряют на голую стену.

Белье выжимает. Окно —
На улицу настежь, и платье
Развешивает.
Все равно,
Пусть видят и это распятье.

Гудит самолет за окном,
По тазу расходится пена,
Впервой надрывается днем
Воздушной тревоги сирена.

От серого платья в окне
Темнеют четыре аршина
До двери.
Как в речке на дне —
В зеленых потемках Марина.

Два месяца ровно со лба
Отбрасывать пряди упрямо,
А дальше хозяйка-судьба.
И переупрямит над Камой…

Во время одной встречи Тарковский прочитал Цветаевой только что сочиненные им стихи:

Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих —

Горе и печаль.

И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит, наконец,
У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,
Холодна рука
И не модные шуршат
Синие шелка.

И вино поет из тьмы,
И звенит стекло…
Как тебя любили мы —
Сколько лет прошло.

Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:

«Каблучки мои в пыли.
Выцвела коса,
И звучат из-под земли
Наши голоса».

Уже в 50-е годы от писательницы М. Белкиной он узнал о том, что существует ответное стихотворение поэтессы «Ты стол накрыл на шестерых…». Это стихотворение – подлинный шедевр цветаевской лирики – было одним из самых последних ее творений. Помечено оно 6 марта 1941 года.

Обругал самого Рокоссовского

Сохранилась фотография, запечатлевшая А. Тарковского и А. Твардовского на фронте. Я попросил Арсения Александровича рассказать о войне.

11 раз писал он заявления с просьбой взять его в армию, и каждый раз получал отказ. Потом, наконец, добровольца мобилизовали. Работал он в армейской газете «Боевая тревога». В его задачу входило сочинение юмористических статей и рассказов. Но приходилось и участвовать в боях.

Главное было – не раствориться, не растеряться в этом аду и хаосе.

– На нас шли немецкие танки. Я прыгнул в окопчик, сверху свалился другой человек и стал душить меня от ужаса. И тогда на живом узоре моей памяти завязался еще один узелок: никогда, никогда не терять своего человеческого образа. Даже в такой обстановке, даже на войне, даже на краю гибели…

А как много доброго открыл Тарковский на фронте в людях! Сколько встреч, запомнившихся на всю жизнь, преподнесла война! Командиром его группы войск был Константин Константинович Рокоссовский. Однажды, заглянув в палатку к гвардии капитану Тарковскому, заснувшему после ночного задания, он приподнял край шинели, накрывавшей спящего человека, и в ответ получил пару ругательных слов – Арсений Александрович не сразу понял, кто его потревожил. Командующий, смутившись, произнес «Виноват», отдал честь и вышел. Вроде бы случай, почти курьез, но он прекрасно дополняет образ прославленного маршала.

За участие в боях с фашистами Тарковский награжден орденами и медалями. После ранения разрывной пулей он перенес ампутацию ноги.

Рассыпанная первая книга

Весной 1945 года А. Тарковский выписался из госпиталя и начал усердно заниматься переводами. В Союзе писателей СССР состоялся его первый творческий вечер. Выступавшая на нем Маргарита Алигер[2] сказала: «Перед нами поэт милостью божьей, нужно издать его книгу».

Здесь, кстати, могу заметить, что наверняка не все любители поэзии знают о драматической судьбе невышедшей первой книги Арсения Александровича. Я с трепетом перелистывал сигнал[3] этого сборника в квартире Тарковских на Маяковке. Сходивший с ума от прикосновения к любой редчайшей книге, как я мечтал пополнить этим раритетом свою коллекцию! Но не решился выпросить ее у автора, понимая, как он ею дорожит. История такова. Тарковский подготовил к изданию книгу стихов, которая получила одобрение на собрании секции поэтов в Союзе писателей. Несмотря на отрицательную рецензию критика Евгении Книпович, рукопись была подписана к печати в издательстве «Советский писатель» и дошла до стадии сигнального экземпляра, когда 14 августа 1946 года грянуло постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Директор издательства решил на время, пока, как говорится, не улягутся страсти, задержать выпуск книги. Поэтому матрицы в типографии «законсервировали» на несколько месяцев. А позже руководство приняло решение заново отрецензировать рукопись. И тогда спохватились, что в книге нет ни одного стихотворения о Сталине и лишь одно – с упоминанием имени Ленина. Набор рассыпали.

Тарковский, и до того мало заботившийся о судьбе своих стихов, о своем «литературном хозяйстве», начисто потерял интерес к изданию книг. И только благодаря настойчивости Татьяны Алексеевны сборник стихов «Перед снегом» был собран, отнесен в издательство «Советский писатель», получил в высшей степени одобрительные отзывы М. Алигер и Е. Златовой и увидел свет в 1962 году (Арсению Александровичу было уже *55),* сразу же став событием в современной поэзии.

Арсений Тарковский был по-детски равнодушен к популярности, к каким-либо окололитературным пересудам. Радовался он лишь тогда, когда получалось хорошее стихотворение и оно кому-то нравилось. В особенности человеку, мнение которого Арсению Александровичу небезразлично.

Писал Тарковский мало. «Избранное», вышедшее в 1982 году, в сущности, вместило почти все, что им сделано. Интересно, что некоторые годы выходили особенно плодотворными. 57-й, например. Чем это объяснить? Ветрами времени? Близостью с добрыми людьми? Вдохновением?

На мой вопрос, когда он понял, что поэзия – его призвание, Арсений Александрович ответил: «Наверное, с рождения. Во всяком случае, с самых юных лет. И к Сологубу-то я бросился потому, что стихи – это то, чем я жил уже в ту далекую пору».

---

[2] Маргарита Алигер – советская поэтесса, переводчица, член правления Союза писателей.

[3] Сигнальный экземпляр – первый готовый экземпляр печатного издания, поступающий из типографии в издательство для ознакомления и проставления пометок, разрешающих выпуск типографией тиража.

Первое впечатление бывает обманчивым

В один из вечеров я попросил Татьяну Алексеевну рассказать о молодом Тарковском, о том, как они встретились.

– Однажды, это было весной 42-го года, я пришла в Союз писателей за пайком и увидела красивого молодого человека в военной форме. Он поразил меня тем, что, как птица, перелетал из комнаты в комнату, и я успела подумать: ну и стремительность.

Позднее в том же Союзе я услышала рыдающий голос Сусанны Мар: «Какой кошмар! Тарковскому ампутировали ногу». И я, грешным делом, произнесла про себя: «Господи, что же так кричать, голова-то цела, а ведь сколько людей и головы сложили». А в мае 44-го в переделкинском Доме творчества я увидела мужчину, который тоже был похож на птицу, но только со сломанным крылом. Спросила: «Кто это?» Ответили: «Разве вы не знаете, это Тарковский». И тут у меня все связалось в одно: военная форма, стремительность, вопли женщины. Не успела я опомниться, как меня извещают: «Сегодня он будет читать свои стихи, приходите». Я в те дни переводила своего любимого О′Генри и, поддавшись какому-то внутреннему сопротивлению, на вечер не пошла, устроилась с рукописью на верхней террасе. Чтение стихов происходило на нижней. И вот до меня донесся красивый мужской голос: «В жаркой женской постели я лежал в Симферополе…» «Боже, какая пошлость, – подумала я, – как хорошо, что я не пошла на вечер». Но голос продолжал звучать, и я невольно прислушалась. И буквально в течение минуты все изменилось: я поняла, что первое впечатление было обманчивым. Случаются неудачные строки и у хороших поэтов, а на самом деле там, внизу, звучат настоящие стихи. Я спустилась вниз и не пожалела: все, что читал Тарковский, произвело на меня огромное впечатление.

На вечере мы и познакомились, а позже, в 1946 году, поженились.

«Анна Андреевна, я не Дантес!..»

С Анной Ахматовой Тарковский впервые увиделся на квартире поэта Г. Шенгели в 1946 году. Его пригласили специально для этой встречи. Знакомство началось с шуточного эпизода. Арсений Александрович взял в руки небольшую шпагу, которой баловался хозяин дома, и Анна Андреевна пошутила: «Кажется, мне угрожает опасность?» «О, нет, Анна Андреевна, я не Дантес», – почему-то выпалил гость. Всегда находчивая Ахматова растерялась: «Я не знаю, как мне ответить на такой комплимент».

Тарковский прочитал какие-то стихи, и Ахматова заметила, что они похожи на стихи Мандельштама. Следующая встреча произошла в Голицыне в Доме творчества; а потом они виделись все чаще и чаще.

– Арсений *Александрович, я слышал, будто бы Анна Андреевна выглядела королевой, гордой и непреклонной?*

– Нет, королевой она не была. Во всяком случае, мне так не казалось. Правда, однажды, когда ей сказали, что Эльза Триоле приглашает ее в Париж, Ахматова действительно по-королевски парировала: «Не понимаю, почему она меня приглашает, я же не зову в Москву римского папу».

Однажды я поссорился с ней из-за Модильяни. Я посмел сделать замечание по поводу ее воспоминаний о встречах со знаменитым художником – они мне не понравились. «Лучше бы вы стихи писали, а не пишется, думали бы о Боге», – сказал я Ахматовой.

– Арсений пришел домой ужасно расстроенный, – вступает в разговор Татьяна Алексеевна. – «Я поссорился с Ахматовой», – сказал он убитым голосом. – Тогда я посоветовала ему завтра же купить большой букет цветов, стать перед ней на колени и извиниться. Но Арсений Александрович ничего этого не успел сделать. Раздался телефонный звонок. «Это говорит Ахматова, – послышалось в трубке. – Вместо того, чтобы ссориться, браниться, нам нужно поддерживать друг друга добрым словом».

Разве королева могла так поступить?! Далеко не каждый смертный в такой ситуации простил бы обиду. Ахматова была цельным, мудрым человеком.

В архиве Тарковского сохранилось две телеграммы от Ахматовой. Они связаны с выходом его первой книги «Перед снегом». Прочитав ее, Анна Андреевна сначала телеграммой поздравила поэта, а потом позвонила и сказала, что если теперь, не дай бог, с ним что-нибудь случится, ей будет жаль его гораздо больше. Ахматовой нравились его стихи. Особенно стихотворение «Когда б на роду мне написано было лежать в колыбели богов». Вечером Тарковский оставил ей рукопись этого стихотворения, а утром она позвонила ему и похвалила стихи.

Дружба с великой поэтессой была сердечной, искренней. Ее смерть потрясла Тарковского. Он сопровождал усопшую в Ленинград, присутствовал при отпевании в Никольском Морском соборе, хоронил в Комарове. Тогда же появились стихи:

Когда у Николы Морского
Лежала в цветах нищета,
Смиренное чуждое слово
Светилось темно и сурово
На воске державного рта.

Но смысл его был непонятен,
А если понять – не сберечь,
И был он, как небыль, невнятен
И разве что – в трепете пятен

Вокруг оплывающих свеч.

И тень бездомовной гордыни
По черному Невскому льду,
По снежной Балтийской пустыне
И по Адриатике синей
Летела у всех на виду.

Хотел застрелиться из-за потерянной строки

Арсений Тарковский – известный переводчик. Блистательный мастер стихотворного перевода, он высоко оценен на этом поприще и критиками, и читателями. Одна из самых близких его сердцу работ и самая, пожалуй, значительная – перевод стихов выдающегося туркменского поэта XVIII века Махтумкули.

Тарковского пригласил Союз писателей Туркмении, и с осени 1946 по июнь 1947 года они с женой жили в Ашхабаде.

– Еще по подстрочникам, – вспоминает Татьяна Алексеевна, – которые, как известно, – лишь первоначальное «сырье» для переводчика, он поразился глубине мысли Махтумкули. Бегал по комнате, читал и все время приговаривал: «Ты только послушай».

Однажды был такой смешной эпизод. Арсений Александрович закончил перевод стихотворения «Скажите лжецам и глупцам», вскочил со стула и, радостный, возбужденный, в восторге упоения от самого себя, закричал: «Я, как Пушкин, готов кричать: „Ай да Арсик, ай да сукин сын! Мне тоже хочется скакать на одной ноге!“» – и прочитал мне стихотворение:

Скажите лжецам и глупцам:
Настало их подлое время.
Скажите безумным скупцам:
Казна – бесполезное бремя.

Он – в восторге, я – в восторге, но вдруг Арсений подходит к столу, хватается за голову: «Я застрелюсь, я утоплюсь!» – «Что такое?» – «Я пропустил одну строку». – «Ну так переведи ее!» – «Ее перевести нельзя». – «Почему?» – «Я использовал все имеющиеся рифмы: племя, стремя, бремя, время, семя, темя». – «Не может быть, чтобы в русском языке не было еще одной такой рифмы». – «Нет, больше нет, не успокаивай меня, я полон отчаяния».

Подхожу к столу, начинаю сравнивать с подстрочником. Где же пропущенная строка? Оказалось, все на месте, ему просто почудилось, что строка выпала, настолько он был возбужден.

Но любопытно другое: когда мы приехали в Москву и по словарю русских рифм проверили мои сомнения, оказалось, что прав был Арсений Александрович, действительно, подобных рифм больше нет в русском языке.

Александр Фадеев: «переводы Тарковского надо немедленно издать!»

Александр Фадеев взял перевод Махтумкули на прочтение и, спустя несколько дней, собрал секретариат Союза писателей, пригласив на него директоров издательств «Советский писатель» и Гослитиздат. Когда все собрались, он предложил Арсению Александровичу прочитать что-нибудь из сделанного в Ашхабаде, после чего безапелляционно произнес: «Я считаю, что эти переводы необходимо немедленно издать, причем сразу же в двух издательствах. Кто „за“?» Все подняли руки. И произведения Махтумкули, до того малоизвестные русскому читателю, сразу же стали популярными. А сегодня невозможно представить нашу литературу без замечательных творений одного из лучших поэтов Востока.

– Осенью 48-го года мы снова собрались в Ашхабад, – продолжает вспоминать Татьяна Алексеевна. – Вместе с нами должен был лететь один наш коллега. Мне почему-то хотелось добираться поездом, и я долго уговаривала Арсения Александровича и нашего товарища именно так и сделать. В конце концов мужа я сумела уговорить. Когда же мы прибыли в Ашхабад, нашему взору предстала страшная картина разрушительного землетрясения. Поезд приехал буквально перед самым последним толчком. Как потом выяснилось, наш коллега, прилетевший самолетом, погиб.

Из Туркмении Тарковские выехали в Каракалпакию, где поэту предложили перевести знаменитый эпос «Сорок девушек». О нем упоминается еще в сочинениях Геродота. В Нукусе хватили лиха. Время было трудное, страна оправлялась от военных невзгод. Жили в неуютной гостинице, без каких бы то ни было удобств. Двери не запирались, окна нараспашку, невдалеке выли шакалы. Еда самая скудная. Ко всему прочему, Арсений Александрович заболел малярией.

И все-таки работу свою он завершил. Это был еще один выдающийся переводческий вклад в дело дружбы литератур и народов нашей страны. При обсуждении в Союзе писателей СССР ученый-фольклорист Л. Климович заявил: «Нередко читаешь тот или иной эпос, и тянет ко сну, так вот почти впервые я прочитал до конца такую большую и увлекательную вещь». Это была высокая похвала мужественному труду замечательного переводчика.

«Твой сын, – несчастный и замученный Андрей Тарковский…»

И еще об одном обстоятельстве, связанном с жизнью и судьбой Арсения Тарковского, хотелось бы рассказать. Так случилось, что во время наших с ним встреч пришло сообщение, что во Франции, на чужбине, умер сын поэта, известный кинорежиссер Андрей Тарковский.

Отношения между сыном и отцом Тарковскими, двумя своеобразными художниками, всегда были теплыми, близкими. Сын тянулся к отцу, который со своей богатой жизненной и творческой биографией всегда был для него авторитетом. Он очень любил поэзию отца и не раз включал его стихи в свои фильмы. По воспоминаниям, режиссер Тарковский, верный своим творческим принципам, не давал отцу никаких поблажек, требовал максимальной отдачи. Так, одно из стихотворений, используемых в фильме «Зеркало», Арсений Александрович читал перед камерой 11 раз.

Нужно сказать, что тема отца и сына, отца и матери проходит через все фильмы Тарковского. А рядом с этой темой, вернее, сквозь нее, проходит другая – дума о Родине, об Отчем доме. Хорошо об этом сказал в печати литературный критик Игорь Золотусский:

«Человек, теряющий дом, покидающий дом, оторванный или отрывающийся от дома, становится голью перекатной, былинкой на ветру, его уносит в мировой океан, но и мировой океан также чувствителен к отступничеству, к отрыву от родительских гнезд. Вспомним финал „Соляриса“ – блудный сын на коленях перед отцом».

Мыслями о родном доме пронизаны и последние работы Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение».

В одну из наших встреч Татьяна Алексеевна вынесла из соседней комнаты и положила передо мной несколько исписанных страниц. «Вот, наконец, нашла, мы хотим, чтобы вы его прочитали…» Это было последнее письмо Андрея Арсеньевича отцу. Написал он его в ответ на послание Тарковского-старшего, в котором говорилось, что всякий художник, имея право на творческую свободу, осуществлять ее должен прежде всего на родной земле.

В марте 1982 года по официальной договоренности Андрей Тарковский выехал в Италию для работы над совместным итало-советским фильмом. Позднее срок поездки был продлен: режиссер не успевал завершить задуманного.

Нелегко складывалась его творческая судьба на родине, нелегко было ему во многом и на чужбине.

Вот это письмо:

«Дорогой отец!

Мне очень грустно, что у тебя возникло чувство, будто бы я избрал роль „изгнанника“ и чуть ли не собираюсь бросить свою Россию… Я не знаю, кому выгодно таким образом толковать тяжелую ситуацию, в которой я оказался „благодаря“ многолетней травле начальством Госкино, и в частности Ермашом – его председателем.

Может быть, ты не подсчитывал, но ведь я из 20 с лишним лет работы в советском кино – около 17 был безнадежно безработным. Госкино не хотело, чтобы я работал! Меня травили все это время, и последней каплей был скандал в Каннах, где было сделано все, чтобы я не получил премии (я получил их целых три) за фильм „Ностальгия“».

Этот фильм я считаю в высшей степени патриотическим, и многие из тех мыслей, которые ты с горечью кидаешь мне с упреком, получили свое выражение в нем. Попроси у Ермаша разрешения посмотреть его, и все поймешь, и согласишься со мной.

Желание же начальства втоптать мои чувства в грязь означает безусловное и страстное желание, мечтание их отделаться от меня, избавиться от меня и моего творчества, которое им не нужно совершенно.

Когда на выставку Маяковского в связи с его двадцатилетней работой почти никто из его коллег не захотел прийти, поэт воспринял это как жесточайший и несправедливейший удар, и многие литературоведы считают это событие одной из главных причин, по которым он застрелился.

Когда же у меня был пятидесятилетний юбилей, не было не только выставки, не было даже объявления и поздравления в нашем кинематографическом журнале, что делается всегда и с каждым членом Союза кинематографистов.

Но даже эта мелочь – а их десятки, – унизительна для меня. Ты просто не в курсе дела.

Потом, я вовсе не собираюсь уезжать надолго. Я прошу у своего руководства паспорт для себя, Ларисы, Андрюши (жена и сын Андрея Тарковского. – *Ф. М.)* и его бабушки, с которыми мы смогли бы в течение трех лет жить за границей, с тем чтобы выполнить, вернее, воплотить мою заветную мечту: поставить оперу «Борис Годунов» в «Ковент Гарден» в Лондоне и «Гамлета» в кино. Недаром я написал свое письмо-просьбу в Госкино. Но до сих пор не получил ответа.

Я уверен, что мое правительство даст мне разрешение и на эту работу, и на приезд сюда Андрюши с бабушкой, которых я не видел уже полтора года; я уверен, что правительство не станет настаивать на каком-либо другом антигуманном и несправедливом ответе в мой адрес.

Авторитет его настолько велик, что считать меня в теперешней ситуации вынуждающим кого-то на единственно возможный ответ просто смешно; у меня нет другого выхода: я не могу позволить унижать себя до крайней степени, и письмо мое – просьба, а не требование. Что же касается моих патриотических чувств, то смотри «Ностальгию» (если тебе ее покажут) для того, чтобы согласиться со мной в моих чувствах к своей стране.

Я уверен, что все кончится хорошо, я кончу здесь работу и вернусь очень скоро с Анной Семеновной, и Андреем, и Ларой в Москву, чтобы обнять тебя и всех наших, даже если я останусь (наверняка) в Москве без работы. Мне это не в новинку.

Я уверен, что мое правительство не откажет мне в моей скромной и естественной просьбе (в случае же невероятного – будет ужасный скандал. Не дай бог, я не хочу его, ты сам понимаешь). Я не диссидент, я художник, который внес свою лепту в сокровищницу славы советского кино. И не последний, как я догадываюсь (один бездарный критик, наученный начальством, запоздало назвал меня великим). И денег (валюты) я заработал своему государству больше многих.

Поэтому я не верю в несправедливое и бесчеловечное к себе отношение. Я же как остался советским художником, так им и буду, чего бы ни говорили сейчас виноватые, выталкивающие меня за границу.

Целую тебя крепко-крепко, желаю здоровья и сил.

До скорой встречи. Твой сын – несчастный и замученный Андрей Тарковский.

Лара тебе кланяется.

Рим. 16.IX.83.

Как известно, разрыв с родиной стал смертельным для Тарковского. Режиссер не готов был к вынужденной эмиграции. Оправдались слова отца о невозможности для художника творить в чужой стране.

Но время – хоть и безжалостная, но справедливая вещь. Оно все расставляет по своим местам. Многих имен знаменитых и почитаемых когда-то в Советском Союзе режиссеров ныне не помнят, зато имя Тарковского, как имена Достоевского и Чехова, в мире ассоциируется с Россией.

Его фильмы «Иваново детство», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Ностальгия», «Жертвоприношение» – признанные шедевры мирового кинематографа. Великий шведский режиссер Ингмар Бергман назвал Тарковского режиссером, который сумел

выразить то, что ему самому всегда хотелось, но не удавалось. Известны его слова: «Всю свою жизнь я стучался в дверь, ведущую в то пространство, где он движется с такой самоочевидной естественностью».

Стихи Арсения Тарковского давно стали неотъемлемой частью отечественной культуры. 27 мая 1989 года поэта, как и его сына Андрея, унесла смертельная болезнь. Отпевали его в храме Преображения Господня в Переделкине…

Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру.
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово…

Глава 2. О Василе Быкове, Трава после нас

«…я простой, измотанный жизнью белорус…»

Творчество Василя Быкова еще долго будет вызывать интерес читателей. Его произведения, написанные, в основном, «про войну», сразу обжигают людское сердце, тревожат душу, заставляют думать, бередят память.

Мне очень хотелось повстречаться с писателем, поговорить с ним. Скромный, даже застенчивый, многозанятый общественными делами человек, не любящий суесловия, парадности, Василь Владимирович никак не мог выбрать время и настроение принять корреспондента. Тогда я послал ему телеграмму с вопросами, зная, что он приедет в Москву на пленум Союза писателей СССР.

МИНСК ТАНКОВАЯ УЛИЦА ДОМ ДЕСЯТЬ КВАРТИРА 132 ВАСИЛЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ БЫКОВУ ТЧК ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ОГОНЬКА ФЕЛИКСА МЕДВЕДЕВА ТЧК ПЕРВЫЙ НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИТАТЕЛИ КАК БЫ ПООСТЫЛИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ НА ВОЕННУЮ ТЕМУ ТЧК ЕСЛИ ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ ТО ЧЕМ ЭТО МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ТЧК…



Василь Быков

Мой неожиданный журналистский прием оказался удачным: Василь Владимирович письменно ответил на некоторые вопросы и передал их по приезде в Москву, потом мы встречались в гостинице «Россия», где он жил, и два дня просидели вместе на писательском форуме в Центральном доме литераторов и еще на лавочке в скверике Союза писателей СССР. Так появилось это интервью.

Москва, улица Воровского, 52. Союз писателей СССР, лавочка в сквере

– Не так давно в печати я с опаской предсказывал скорое наступление такого охлаждения. Дело в том, что мы давно и прочно привыкли существовать в ритме различных общественно-политических кампаний, которые с удивительно отрегулированным постоянством на протяжении десятилетий сменяют одна другую. Мы с шумом и упоением отпраздновали сорокалетие нашей победы в Великой Отечественной войне, когда, по-видимому, и произошло неизбежное перерасходование энергии почитания и восторгов. Наступил естественный спад – спад внимания, интереса к проблемам прошлой войны и литературы о ней. На многие, даже очень ценные вещи у нас нет твердого, устоявшегося взгляда, мы в значительной мере подвержены моде, кампаниям, постоянно жаждем новизны, эпатажа и, если их нет, очень скоро отворачиваемся к другим проблемам и сомнительным ценностям…

– В редакцию пришло письмо от женщины, которая не читает книг о войне, в которых герои умирают. Что вы думаете о таком читателе?

– Если не иметь в виду, быть может, какие-то особые личные обстоятельства в судьбе этой женщины, думаю, что она принадлежит к читателям определенного рода, которые сформулировали свое отношение к искусству как к комфортному мероприятию. Неважно, что должно приносить удовлетворение: роман ли, кинофильм или концерт. Если же произведение вызывает чувства другого плана, то оно считается плохим или каким-то не таким. Бог с ними, таких читателей немало и у нас, и за рубежом. Плохо, что в последнее время похожие мысли высказывают специалисты, критики, которые, уже после того как наша литература заговорила о негативных явлениях недавнего прошлого, почувствовали тоску и печаль по хорошим людям, по комфортным отношениям. Наверное, автору было бы приятнее написать о хороших людях, о хороших отношениях и доставить тем самым наслаждение читателю, но чего стоит такая литература, особенно в наше время? Литература, которая способна не разбудить, а усыпить. А разве в этом назначение искусства?

– Григорий Бакланов в недавнем интервью сказал, что, как показывает опыт, «самые значительные книги о войне написаны ее участниками». И это означает, что невоевавшие, то есть все те, кому сегодня до пятидесяти, не должны браться за военную тему. Вы согласны с такой точкой зрения?

– Трудно не согласиться с Баклановым, хотя это мнение вряд ли понравится многим молодым писателям. Но в таких случаях в качестве оптимального выхода я указываю на пример молодой белорусской писательницы Светланы Алексиевич, родившейся после войны. Она не стала о войне сочинять небылиц, а с магнитофоном в руках пошла к воевавшим женщинам и записала сотни их исповедей-рассказов, из которых и создала книгу «У войны не детское лицо». Эта ее книга прозвучала свежо и искренне даже в белорусской литературе, в которой о войне, как известно, написано хорошо и немало. Потом появилась и новая книга Алексиевич – воспоминания подростков, переживших войну. Это ли не пример плодотворности данного метода для невоевавших, но обнаруживших свою приверженность теме войны? Следование же по другому пути – пути чистого воображения, сколь бы плодотворным оно ни было, не может застраховать от вторичности, приблизительности, эмоциональной упрощенности, особенно заметных в сравнении со столь мощно звучащими произведениями о войне, написанными ее непосредственными участниками.

– Василь Владимирович, по мнению некоторых критиков и писателей, именно вы наиболее естественно выражаете правду и сущность войны…

– Сам я так не считаю. Наоборот, я думаю, что именно другие авторы, особенно в русской литературе (Симонов, Смирнов, Бакланов, Бондарев, Воробьев, Крутилин, Астафьев, Адамо-

вич, Гусаров и др.), написали больше, а главное, лучше меня, начавшего позже и во многом так или иначе уже учитывавшего их опыт. Может быть, некоторая моя заслуга состоит в том, что я смелее пошел на упрощение и заострение отдельных характеров и положений там, где другие авторы стремились к большей художественности, романной основательности. Но еще неизвестно, кто в конце концов окажется в выигрыше, а кто в проигрыше, это определит лишь неумолимое время.

– Один из критиков в свое время обвинил вас в «ремаркизме». Вы не обиделись, не оскорбились? Как вообще вы воспринимаете критику в свой адрес? К сожалению, некоторые наши маститые писатели стали воспринимать даже незначительные критические замечания в свой адрес как личное оскорбление, почти навет.

– Разумеется, я обижался на многие несправедливые обвинения в свой адрес, но только не на этот укор. В то время я уже хорошо знал, что навешивание ярлыков и обвинение во всяческих «измах» – отработанный прием определенного толка критиков, но что касается Ремарка и особенно его известного романа, то я слишком уважал этого автора, чтобы обидеться за причисление к его последователям. Ремарк – большой писатель-гуманист, пришедший к нашему читателю в благодатное для нас время и добротворно потревоживший своими образами наши вдруг посветлевшие головы.

– Есть правда о войне, выраженная в ваших книгах. Есть правда нашей истории, правда о сегодняшнем быстротекущем дне. Читатели воспринимают вас как яростного правдолюбца, честного, мужественного художника. Скажите, можно ли ожидать от вас книги, я бы сказал так, не о войне?

– В последнее время у меня все чаще появляется такое желание, для него, я думаю, в окружающем мире достаточно оснований. Но что касается недавнего прошлого и его поразительных проблем, то, будучи реалистом, не перестаешь сожалеть об отсутствии у тебя дарования бессмертного Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, своеобразный талант которого с таким блеском изображал всю степень алогичности многих общественных явлений, успешно просуществовавших до наших дней.

– На обелиске одной из братских могил под Кировоградом в списке погибших значится ваша фамилия. Случай уникальный для фронтовика, оставшегося в живых. Как это произошло?

– Зимой 44-го года в ночном бою под Кировоградом был разгромлен стрелковый батальон, в котором я служил. Место это на короткое время захватили немцы. Наши части были отброшены, батальон почти целиком подмяли немецкие танки, командир погиб, многие солдаты – тоже. Потом фашисты отошли, но начавшиеся в степи снегопады замели места боев и тела погибших. Хоронили убитых жители окрестных деревень только в марте, когда растаял снег. Наш фронт к тому времени был уже далеко, на Южном Буге. Поэтому всех погибших опознать не могли. У кого были документы, тех и опознали. А те, у кого документов не оказалось, остались безвестными. В деревне Большая Северинка захоронили в братской могиле около 150 человек, и далеко не все имена были установлены. Я же в том бою был ранен и после нескольких дней приключений попал в госпиталь Пятой танковой армии, то есть в госпиталь другой армии. На поле боя осталась моя полевая сумка, а в ней – мои документы. Таким образом, по штабным документам я числился убитым, поскольку в свою часть не вернулся.

– Я слышал, что вы ведете довольно аскетический образ жизни, что вы жесткий, сухой человек. Скажите, таким вас сделала война, переживания?

– В вашем вопросе до известной степени отразились наветы моих недоброжелателей. Вовсе я не аскет и не сухой человек, но вот я думаю, как глубоко был прав Джон Стейнбек, сказавший однажды: «Ужасное это дело – утрата безвестности». Наверное, всякому живому человеку, не только писателю, трудно бывает мириться с тем, что его жизненное, отпущенное ему судьбой время беззастенчиво транжирится, растаскивается, расхищается для вздорных,

ненужных дел и мероприятий. Могильщик писательского времени – телефон – тиранит сверх всякой меры. Я стараюсь избегать хотя бы части его вздорных требований, но нередко сдаюсь, загнанный в угол многоопытными организаторами никому не нужных мероприятий, и, сидя где-нибудь на очередном заседании и уныло слушая пустопорожнюю болтовню упоенных собой краснобаев, горько упрекаю себя за бесхарактерность. Выкроить полдня тихого одиночества для работы становится все труднее в век безудержного бюрократического ускорения – кажется, самой безусловной реальности, ставшей уже бытом и бытием для многих.

– Вас тянет туда, где вы бывали в годы войны, где сражались, где прошла часть вашей молодости?

– Кое-где я побывал. В Венгрии, например. Места, конечно же, изменились, многое трудно узнать. Конечно, тянет туда, где воевал, где прошла часть молодости. Но я считаю, не надо стремиться на встречу с прошлым, потому что неизбежны разочарования. Потому что настоящее никак не соответствует образу, созданному в твоей памяти. И вы знаете, я понимаю, почему Марк Шагал, когда приезжал в Советский Союз, не посетил Витебск. Он, наверное, поступил правильно. Этот умный старый человек понимал, что он не отыщет того, чего нет. Ведь послевоенный Витебск – это совершенно изменившийся город. Хотя в нем есть дом и улочка, где жил Шагал, но это вовсе не значит, что именно такими они существовали в его памяти. Поэтому, чтобы не разрушать в себе дорогое, не надо заново искать его.

Кстати, уж коль я заговорил об этом великом художнике, замечу, что белорусская интеллигенция благодарна Андрею Вознесенскому, напечатавшему свой очерк о Шагале в «Огоньке» и в этом порыве опередившему любого из нас. Конечно, поначалу мы должны были написать о Шагале у нас в Белоруссии. Но у нас, к сожалению, до сих пор существует разброд по отношению к имени, к творческому наследию ныне всемирно известного художника. Снова повторяется прежняя, почти библейская истина: нет пророка в своем отечестве. Уходит из жизни художник, и мы постепенно, с оглядкой на что-то или кого-то начинаем его признавать. Осенью я разговаривал с руководством Витебской области о создании музея Шагала, вроде бы возражений особых не было, но и дел конкретных тоже не видать.

– Василь Владимирович, не связано ли ваше пристрастие к Шагалу с тем, что на творческую стезю вы вступили поначалу как художник? Ваши биографы сообщают, что вы учились в художественном училище. Сохранились ли работы той давней поры? И еще – почему вы не сразу стали писать?

– Все дети имеют влечение к изображению мира в любой доступной форме. У меня же это началось со знакомства с одним человеком, приехавшим после гражданской войны откуда-то из Сибири в то местечко, где я тогда жил. Вместо обычного скарба он привез с собой предметы для художества, несколько картин. Его пейзажи были первыми в моей жизни «живыми творениями художника». Помню, что с особым удовольствием перелистывал я старые журналы с репродукциями картин известных мастеров. С детства меня влекло к рисованию. Но условий для развития дальнейшего интереса к этому не было.

А работы мои давние не сохранились. Во время войны я еще кое-что делал по рисовальной части. Но однажды сгорел «студебекер» с нашим солдатским имуществом, в том числе мой мешок, где был альбом с рисунками. С тех пор рисованием я не занимался.

– Не погиб ли в вас талантливый художник? Впрочем, считается, что талант в одиночку не ходит. Скажите, что заставило вас взять в руки перо? Вспомните об этом.

– Первый рассказ я написал на Курильских островах, где продолжал службу в первые послевоенные годы. Я, да и не только я, а многие из фронтовиков ничего о войне не читали и читать не хотели. Война была еще слишком жива в нашем сознании. Мы старались как можно скорее от нее отрешиться, прервать эту связь с прошлым. Но по прошествии некоторого времени я стал читать книги о войне, написанные писателями довольно известными, но останавливал себя на том, что эти рассказы о войне меня не удовлетворяют. Вот почему я попробовал

из чисто полемических побуждений написать свой первый рассказ. Мне казалось, то, что я читал, никак не соответствовало моему личному опыту, как-то все было не так и не то. Потом еще и еще. Конечно же, они были слабыми, плохими. Пытался их напечатать, но из этого ничего не вышло. И на много лет я забросил попытки стать писателем. В 1955 году, демобилизовавшись, стал работать в газете, начал писать прозу и даже опубликовал первую книгу рассказов. Правда, это были юмористические рассказы. Позже написал несколько вещей на молодежную тему. И только в конце 50-х прочно засел за военную тему.

Произведения Василя Быкова широко известны. Но далеко не все знают, что о самом писателе написаны монографии. В них, конечно же, есть и биографические сведения. Кое-что читатель, интересующийся творчеством Быкова, черпает из его статей и интервью с ним, которые, кстати, он давал не всегда охотно. Поэтому я расспрашивал Василя Владимировича о его детстве, семье, родителях. Спросил, есть ли у него дети и доволен ли он ими. Спросил о восприятии его творчества, его широкой, я бы сказал, мировой известности у него на родине, в Белоруссии. Последний вопрос в этой связи был таким: «Понимают ли ваши земляки, люди, с которыми вы встречаетесь, живете, из судеб которых черпаете материал для книг, понимают ли они значение литературы, писательского слова? Есть ли у них ощущение вашей необходимости? Или все-таки им важнее хлеб насущный…»

– Родители мои – крестьяне. С ними я жил до войны. Отец умер 25 лет назад, мать 3 года назад.

У меня два сына, один – военный, другой – врач. Доволен ли ими, трудно сказать. Потому что у родителей к детям отношение все-таки пристрастное. И поэтому трудно избежать крайностей, недооценки или переоценки их. Но я полагаю, что их жизнь – это их дело. Коль они выбрали для себя этот путь, им же отвечать за него. Я не вмешивался. Потому что знаю, что любой советчик всегда рискует. Рискует тем, что его совет может привести не туда, куда он хотел, куда надо бы, и тогда его совесть будут скрести кошки.

Известность ко мне пришла, может быть, в последние годы. Да я вообще думаю, что такие вещи, как известность, слава, простые люди не воспринимают. Я помню, как-то приезжал в родные края и там с одним дядькой мы ездили рыбу ловить на озеро. Я тогда в газете работал. Он спросил: «Я знаю, ты пишешь, ну а работаешь ты где?» Я говорю: «В редакции работаю». – «В редакции? Так ты пишешь там. А работаешь где же?» Вот какой состоялся разговор. Человек, который всю жизнь работал физически, не может понять, как это за то, что ты водишь перышком по бумаге, тебе еще и деньги платят. Это так, дескать, твоя блажь личная, а работа – это другое. Хлеб ты должен зарабатывать своими мускулами. Боюсь, что значение литературы в жизни народа все больше падает. Я вспоминаю годы своей юности, детства, когда книга была редкостью в деревне. И если она была, ее читали. Ее читали все: знакомые, родственники, товарищи, соседи. Читались все книги в библиотеках. Теперь же другая обстановка. На селе в книжных магазинах – много книг. Мы недавно пережили книжный бум. Сейчас он вроде бы спал. Но даже во время бума, я думаю, покупали много, но читали не так много. И сейчас село обходится телевидением, из которого черпает всю информацию об окружающем мире. Читают мало в школах. Поскольку у нас вся классика экранизирована, школьники стараются обойтись без чтения книг. Это, конечно, плохо. Но какого-то выхода я здесь не вижу. Во всяком случае, в ближайшее время.

– Я понимаю, Василь Владимирович, что у вас есть свой читатель. Но вас никогда не посещает мысль, что может наступить такое время, что вообще люди перестанут читать? В том числе и ваши книги. Такое может случиться, как вы думаете?

– Вполне. Почему же нет. И об этом надо думать всем, кто причастен к книгоиздательской политике. С одной стороны, издатели не могут наводнять книжный рынок продукцией,

которая не имеет спроса, не находит сбыта. Это было бы противоестественно экономически и, наверно, морально тоже. Но, с другой стороны, издатели не должны потакать современному массовому вкусу. Если идти по этому направлению, как на Западе, тогда литература превратится в китч, псевдолитература будет иметь наибольшее распространение. Потому что, как ни странно, за многие десятилетия нашего культурного строительства культурный уровень массового читателя не очень-то поднялся. К сожалению, мы продолжаем насаждать произведения, которые никак этих усилий не достойны.

– Сейчас публикуются произведения, которые по разным обстоятельствам долго не выходили к читателю. Но раздаются голоса, в том числе и среди писателей: зачем такие вещи печатать, зачем заниматься литературным некрофильством. Что вы думаете об этом?

– То, что публикуются вещи «из стола», абсолютно правильно. Более того, было бы просто преступно игнорировать и дальше то хорошее, что было в нашей литературе. Неужели людям непонятно, что хотя бы во имя справедливости это надо сделать. Потому что на многие десятилетия читатели были вышиблены из круга российской словесности по разным причинам. Одно время не издавали Есенина, другое – совершенно эпохальные вещи Бунина. Если бы продолжалась эта линия, какие бы невосполнимые потери понесла наша словесность! У нас есть довольно старый обычай: очень уважать мертвых. Пока человек жив, его могут не издавать, третировать, но после смерти вдруг обнаруживается, какой, оказывается, жил замечательный художник. Это относится к тому же Шукшину. Многие помнят, с каким восторгом были встречены первые рассказы Шукшина, печатавшиеся в «Новом мире», в «Октябре», потом – полоса отчуждения. А теперь, когда его нет с нами, опять начинаем гореть любовью к его творчеству.

Так вот, я считаю, что совершенно правильно «Огонек» публикует поэтическую антологию, которую ведет Евгений Евтушенко. Я считаю, что это нужно продолжать и, может быть, давать материал даже шире, полнее. Надо понять, что, возможно, тот или иной поэт был не очень большого дарования, но он был, жил в свое время, что-то значил, и разве можно его начисто вычеркнуть из литературы? Это несправедливо. Тем более, уж если это касается таких величин, как Гумилев, Ходасевич, Мандельштам, – крупнейших поэтов начала века.

– Не оригинальный, но злободневно важный вопрос: что вы думаете о перестройке?

– Я думаю, что какие-то конкретные изменения ждут нас впереди. Все новые веяния, тенденции доходят до глубинки с большим опозданием. Вот я на днях был в одном районе, разговаривал с первым секретарем райкома. Он говорит: «Что делать? На почве в ночное время заморозки. Кукуруза, посеянная в такую почву, непременно погибнет. Ее нужно будет пересевать. Но из области установка: закончить сев к такому-то числу. И это не только установка, а требование отчета о количестве засеянного. Да еще за каждый день. Что делать?» Я ему говорю: «Так вы же имеете право сослаться на известные постановления по этому вопросу, давшие вам свободу действий». – «Право-то правом, а к такому-то числу сев должен быть закончен». Вот вам пример. Значит, по-прежнему, как и десять, и двадцать, и сорок, и пятьдесят лет назад, продолжается одно и то же. Сильный, волевой нажим, определенные железные сроки, и ни дня позже, не считаясь ни со здравым смыслом, ни с погодными условиями.

– В последнее время появились мнения вот о чем: не перебираем ли, дескать, мы через край с гласностью, не слишком ли обнажаем наши раны, затянувшиеся и свежие?

– Я почти явственно вижу лица людей, выражающих подобное мнение, хорошо знаю их по годам «застойного» времени, они немало «потрудились», чтобы сделать его почти необратимо застойным. Застой, неподвижность, окаменелость в теории и на практике – это их родная стихия, так неожиданно порушенная ныне ветром гласности. Если разобраться и трезво оценить наши трудности в деле перестройки, то, наверное, обнаружится, что самое сложное в ней – именно преодоление махровой природы бюрократизма, упрямо цепляющегося за отра-

ботанные до высокого совершенства приемчики прошлого, главным из которых является пресловутое «не пущать».

В течение последнего времени мне пришлось многое наблюдать на примере судьбы одного из самых энергичных поборников перестройки, человека с международным авторитетом, писателя-публициста, активного борца за мир и взаимопонимание между народами, всем известного Алеся Адамовича. Его активность во всех отношениях недешево ему стоила, отобрала массу физических и душевных сил, и вот все кончилось мелкой, но чувствительной для него местью: недопущением на очередной форум в США, куда он был приглашен с группой советских ученых. Чиновники из Академии наук БССР отказали ему в оформлении выездных документов под тем предлогом, что он слишком часто ездит и много выступает. Они уже регламентируют участие в перестройке, по-видимому, составляя графики неучастия в ней. Они сами молчат годами и того же добиваются от других, жадно дожидаясь момента, когда раздастся трубный голос отбоя, прекратится «разгул демократии» и, как они говорят, все войдет в привычные берега мертвечины и сонного, однако такого комфортного для них благополучия. И еще. Если благородные идеи перестройки нашли в чем-либо свое наибольшее проявление, так это действительно в бурно развернувшейся гласности, пожалуй, достигшей в стране своей высшей отметки. Наша журналистика (внутренняя, конечно, международная отстает от нее пока на десятилетия) неожиданно и прямо-таки самоотверженно вырвалась в авангард гласности и вскрыла столько заботливо взлелеянных бюрократией социальных язв, развернула такую борьбу за правду и справедливость, что если даже она ничего больше не сделает, то оставит о себе память на десятилетия.

В то же время, оценивая общий ход гласности, нельзя не заметить, что в последнее время появились признаки некоторой ее пробуксовки; накопление количества не всегда приводит к качественным изменениям, забрезжила опасность девальвации слов, правильных и нужных по существу, но не подкрепленных конкретными делами, что угрожает закончиться тривиальной говорильней. Последнее было бы весьма сожалительно, если не катастрофично для всего сложного и безмерно трудного дела перестройки.

– Я слышал такую легенду о Фолкнере. Когда он умер, в доме, где он жил, обнаружили комнату, почти сплошь заваленную письмами читателей. Писатель не любил переписки. А вы, Василь Владимирович, отвечаете на письма или они вас не волнуют?

– Стараюсь отвечать, но не всегда могу это сделать. Особенно это относится не столько к письмам, сколько к бесконечной веренице бандеролей с рукописями, авторы которых напрасно полагают, что стоит известному писателю позвонить или написать «куда следует», и их рукопись тут же будет запущена в производство. Но есть письма, на которые не ответить невозможно, хотя по существу, отвечать надо бы не мне, а кому-либо другому, кто имеет власти больше, чем писатель. Но дело в том, что писатель в нашей стране по давней, не нами заведенной традиции в какой-то мере все-таки продолжает оставаться народным трибуном, своеобразным адвокатом народа, к которому обращаются люди, когда все другие возможности исчерпаны и больше обратиться не к кому. Пишут не только жалобы, не только по личным вопросам – государственные проблемы волнуют ныне не в меньшей степени.



С Василем Быковым

Я сказал Быкову, что однажды выдающегося американского писателя Уильяма Сарояна спросили: может ли исчерпаться материал для творчества? Сароян ответил: нет, не может, ибо материал – это я сам. Пока я жив, мне будет достаточно материала для книг. Василь Владимирович прокомментировал этот разговор следующим образом: «Сароян, как известно, большой художник нашего времени, и в таком качестве он сказал сущую правду. Как всякий реалист, он черпает свой материал из окружающего мира, но не меньший мир заключен в нем самом, для его выражения не надобно ничего больше, кроме самого себя и своего дарования».

А мне подумалось, что Василь Быков мог бы это же самое сказать и о себе. Во всяком случае, как кажется, материала, пережитого и перечувствованного им на войне (настолько он богат, многогранен, трагичен и гуманистичен), в нем, в человеке и художнике, предостаточно. Об этом говорят и все новые и новые произведения, связанные с войной, и последние из них – «Знак беды», «Карьер», «В тумане», ставшие значительными достижениями современной литературы.

– Вы человек, не раз смотревший в глаза смерти. Скажите, о чем сегодня должен писать художник, чтобы помочь спасти мир от разрушения, от гибели? Или важнее не о чем писать, а как?

– На этот вопрос недавно хорошо ответил все тот же Алесь Адамович, выдвинувший в качестве гипотетического императива нашего времени появление так называемой сверхлитературы. Правда, его тут же оспорили и, конечно, зря, потому что неверно поняли сам термин, истолковав его как призыв к чему-то ирреальному, небывалому в искусстве. Адамович же имел в виду вовсе не новый стиль или жанр, но – новое качество. Он подразумевал под этим вполне реалистическую литературу, но литературу очень высокого гуманистического звучания – такую, которая в наше время, чреватое гибелью всего человеческого рода, сквозь потоки полуправды, лжи и прямого одурачивания миллионов пробилась бы к сознанию человечества, вынудив его остановиться у последней черты. Не знаю, как Адамович, но я склонен считать, что из произведений последних лет романы Чингиза Айтматова и Владимира Дудинцева при-

ближаются к литературе такого рода, и в этом, несомненно, обнадеживающий знак для литературы будущего.

– Из одного интервью с вами я узнал, что вам близок по духу французский писатель-экзистенциалист Камю. Мне такое признание показалось интересным. Не могли бы вы подробнее пояснить, на чем основана эта близость?

– Не то чтобы близок. Ведь, как известно, Камю причисляют к экзистенциалистам, хотя сам он всячески это отрицал. Но в данном случае не так важно, что думает о себе автор. Все-таки он принадлежит к этому течению, что общепринято. Самое главное – произведения писателя. Наше время сложно во всех отношениях. Сложность этого времени, его драматизм и трагизм Камю чувствовал, может быть, лучше других. И он создал, наверное, одно из лучших произведений нашего века – роман «Чума». Роман этот, конечно, при внимательном чтении отвечает на многие вопросы, которые стояли до нас и которые, наверное, останутся и после нас. Я теперь очень понимаю Твардовского, который когда-то говорил и писал, что «Чума» Камю является евангелием XX века. Это совершенно справедливо. Потому что в условиях беспросветных и безнадежных, в которые нас поставила научно-техническая революция, термоядерная эпоха, человеку не остается выбора. Он может только или оставаться человеком, или перестать существовать. Так вот, со всей категоричностью, я думаю, очень убедительно Камю в своей «Чуме» показывает, что значит быть человеком в этих условиях.

– Ваши творческие принципы, кредо?

– Следование правде жизни – жесткой, нелицеприятной, грязной или чистой, прекрасной или уродливой – такой, какой она существует во всех ее взаимосвязях и проявлениях. У искусства есть лишь один способ добиться позитивного изменения в обществе – это показать общество таким, каким оно является на деле. Многолетний опыт развития нашей литературы красноречиво свидетельствует, что самым старательным образом сконструированный так называемый положительный герой не способен научить ничему ровным счетом, разве что доставит несколько комфортных минут читательскому сознанию, и все благие намерения автора повиснут в воздухе. Лишь показывая человеку его истинное лицо, можно понадеяться на какие-то более или менее результативные импульсы с его стороны.

– Скажите, вы, как человек нелегкой и жизненной, и писательской судьбы, ощущаете правоту своего дела, правоту вашего таланта?

– В моей биографии нет ничего необычного или сколько-нибудь примечательного – обычная биография человека моего поколения, юность которого совпала с годами кровавой войны, затем пошли годы армейской службы, работы. Я, может быть, счастлив лишь тем, что первые пробы пера, как и вхождение в большую литературу, счастливо совпали с наступлением благоприятственной атмосферы, вызванной решениями известных партийных съездов, очень благотворно повлиявших на литературную судьбу многих.

О правоте? Вы знаете, естественно, в том деле, которым я занимаюсь, хотел бы оказаться правым. Если не перед лицом истории, то хотя бы в глазах моего изрядно прореженного войной поколения.

– У писателей фронтового поколения, таких как Астафьев, Бакланов, Бондарев, издано по четыре тома собрания сочинений. У вас тоже. Много это или мало?

– Я работаю немного. Не каждый день. Между повестями у меня всегда какие-то промежутки. Иногда они затягиваются на год-два. Иногда меньше. Можно интенсивнее работать. Но, с другой стороны, зачем? По крайней мере, «ни дня без строчки» – это не мой девиз. Я полагаю, что надо писать тогда, когда повесть или роман в значительной мере созреет в душе и потребует своего выхода. Если заранее этого не ощутил, то нечего торопиться. Обычно в таких случаях потом все приходится переделывать.

– Как вы считаете, может ли человек сжечь себя в искусстве, сгореть в пламени всепожирающего творческого подвига?

– В наше время вряд ли. Современный человек сверх меры трезв и рационалистичен для того, чтобы позволить своему таланту сжечь себя без остатка, игнорируя свое привередливое, капризное эго.

– Самое сильное потрясение вашей жизни: встреча, событие, чья-то книга, чей-то поступок?

– Самое большое потрясение, я думаю, ждет меня, как, впрочем, и все человечество, впереди: это успех или неуспех нашей перестройки. При любом исходе тут не избежать потрясения положительного или отрицательного свойства, потому что слишком много на нее поставлено.

– Однажды я по-журналистски позавидовал Татьяне Земсковой, задавшей Валентину Распутину прямо в лоб такой категоричный вопрос: вы большой писатель? Так вот, я от многих слышал суждение, что Быков по-настоящему большой писатель нашего времени. В частности, так мне говорил Вениамин Александрович Каверин. Простите, но… вы – большой писатель?

– Если мерить провинциальными масштабами, то тут я, наверное, лишь чуточку больше некоторых, но если иметь в виду Льва Толстого или Достоевского, то – увы…

– Ощущаете ли вы, что годы бегут, что вам седьмой десяток, что многих друзей вы уже потеряли, что жизнь прожить – действительно не поле перейти?

– В последние годы я все чаще стал ощущать, что мне далеко уже не двадцать, – большей частью, разумеется, в физическом смысле. Кроме того, пришло явственное осознание безмерной наивности молодых лет по отношению ко многим явлениям жизни. Наверное, в этом и заключается некоторый признак поумнения. И постарения тоже…

Некоторым образом, я был счастлив тем, что встречался, общался, может быть, даже дружил с очень хорошими людьми, которые и память о себе оставили хорошую. Теперь казнюсь, что мало с ними общался. Многих мог бы назвать. Твардовского, Сергея Сергеевича Смирнова, который был прекрасным человеком, немало сделавшим после войны для ветеранов. С большой нежностью и горестью вспоминаю Кайсына Кулиева, поэта, замечательного человека. Жаль, что мы редко виделись, я – человек сдержанный, а Кайсын Кулиев был весь распахнут навстречу, и все его добрые чувства проявлялись сразу. Сейчас чувствую, что надо бы больше дорожить людьми, хорошими людьми, их добрыми чувствами. Чтобы не сожалеть потом, что мало успел сказать им добрых слов. Помните, у Вяземского: «Она себя лишь любит в мире, а там хоть не расти трава…»? Все-таки жизнь слишком коротка, и надо думать о добре. Не себя любить, а ближнего своего, человека любить. Чтобы потом, после всего, после тебя взошла на земле зеленая трава памяти. Трава после нас.

Май *1987*

Василь Быков умер 22 июня 2003 года.

В 1998 году писатель, выступавший с резкой критикой режима Лукашенко, вынужден был уехать из Минска. По приглашению ПЕН-клуба Финляндии полтора года он прожил в Хельсинки, в 2000 году переехал в Германию. Дети и внуки его книжных героев – немецких фашистов – предоставили писателю-фронтовику, всю жизнь писавшему о войне, не только политическое убежище, но и возможность жить и работать. В эмиграции написал несколько военных рассказов и притч, повесть «Волчья яма», посвященную последствиям чернобыльской катастрофы, как всегда у Быкова, прежде всего нравственным. Из Германии перебрался в Прагу. За месяц до кончины вернулся на родину.

Из последнего интервью Василя Быкова:

– Вы по-прежнему остаетесь политическим изгнанником…

– Я вынужденно живу за границей. Режим, который создался у меня дома, не дает мне жить и работать там. Как можно жить в стране, где действуют «эскадроны смерти»? Они

созданы правительственными структурами и уничтожают людей. Прежде всего, конечно, пропадают те, кто находится в оппозиции власти. Естественно, средства массовой информации России об этом говорят сквозь зубы.

– Белорусская власть не пыталась купить вас?

– Не проходило и недели, чтобы эта власть руками своих или российских писак не поливала меня грязью, не компрометировала, не пыталась изничтожить. Поэтому, о какой купле может идти речь? Заключенного концлагеря не покупают – его истребляют. Думаю, что для подобных режимов известность тогда в цене, когда художник служит власти, обслуживает ее интересы. В других же случаях человека просто передают полицейскому ведомству, и ему уже приходится бороться не за интересы общества или во имя какой-то идеи, а лишь за свою возможность элементарно выжить.

«Я не лидер и не „совесть нации“, я простой, измотанный жизнью белорус, который хочет одного – остаться честным», – так написал Василь Быков в последней своей биографической повести «Долгая дорога домой».

Глава 3. Соблазн и шок по Сан-Лорану

Его имя – легкое и изящное, как стремительный полет лани. Его жизнь – сказка. Его творения – легендарны. Возможно, как никто другой на свете, он понимал женщину. Чувствовал ее. Жил для нее. Он нашел в себе дерзость сказать: «Я придумал ее прошлое, подарил ей будущее, и так будет даже после моей смерти». Ив Сен-Лоран… Непревзойденный король высокой моды. Признанный мэтр дизайна женской одежды. Великий кутюрье Франции. Соблазнитель миллионов сердец. Одежда из его коллекций признана самой дорогой в мире. Он одевал Катрин Денев и Клаудиа Кардинале, Софи Лорен и Изабель Аджани, Майю Плисецкую и принцессу Диану. Его модели, и это исключительный случай, при жизни, еще в 1983 году, были выставлены как музейные экспонаты в Нью-Йорке. Его марка – это огромная империя, шагнувшая уже и в Россию.

В своем деле Ив Сен-Лоран всегда был первопроходцем. Он поражал публику тем, что открывал новое, неизведанное. Понятие проторенных дорог для него не существовало. Он первым вывел на подиум прозрачность, доказал, что стиль сафари – изящен, как мечта об охоте на леопарда. Он ввел в женский гардероб смокинг и, вопреки всем канонам академизма, создал «платье-поп», шелковую пижаму, пальто из ковровой ткани, «платье-шар», «платье-рок», «плащ-змею». Он разработал основу, которая уже десятки лет присутствует в коллекциях модельеров: блайзер, бушлат, матроски, плащи, брючный костюм. Единственное, что он не придумал – и очень об этом сожалел, – так это джинсы. Мэтр моды ненавидел каноны и ограничения, его приводила в ужас сама мысль о том, что женщина в его одеждах будет чувствовать себя скованной.

И всему этому Ив Сен-Лоран отдал 40 лет творческой жизни, этот юбилей праздновался всей Францией целых 12 месяцев. Его мама, Люсьен Матье Сен-Лоран, сказала: «Молодость моего сына резко оборвалась в 1957 году». Тогда, после смерти Диора, он, еще почти юноша, был признан наследником великого мастера моды, самым молодым на свете кутюрье.

При своей мировой славе и всевозможных почетных титулах и званиях Сен-Лоран был скромен и застенчив. Он жил почти замкнутой жизнью, не читая газет и лишь изредка включая телевизор. Он все больше и больше ощущал одиночество и все реже старался выходить на улицу. Он боялся внешнего мира, людей, толпы. «Я чувствую себя хорошо лишь дома, с собакой, карандашом и бумагой». Одиночество неугомонных гениев – это их крест. Мало что известно о личной жизни короля моды, ведь он не посещал светских раутов. Слухи ходят разные, один экстравагантнее другого. От причастности мэтра к «голубому» племени до какой-то в молодости сумасшедше-разнесчастной любви, не отвратившей, однако, его таланта от служения прекрасному полу. Знатоки утверждают, что некоторые модели Сен-Лорана будут актуальны всегда, пока будет существовать мода.

А между тем, еще не так давно, что слышали мы, потребители изделий «Большевички» и «Скорохода», о божественном Сен-Лоране?! Разве что любителям поэзии были знакомы строчки Андрея Вознесенского:

Когда ты одета лишь в запах сеновала,
то щедрее это платьев Сен-Лорана…

А ведь великий кутюрье так доверительно произнес: «Между улицей и мной существует настоящая любовь…»

Я разговаривал с Ив Сен-Лораном дважды: в мастерской художника Ильи Глазунова, когда мэтр приезжал в Москву, и в Париже – в Доме моды на авеню Марсо, в одной из его резиденций. Он запомнился мне задумчивым, усталым, отрешенным человеком, одетым в неброс-

кий костюм, общавшимся безо всякого вызова и апломба. Но передо мной был величайший революционер XX века, гордость Франции, кумир миллионов.

«Моя работа – не искусство, максимум – ремесло…»

– Господин Сен-Лоран, некоторые на Западе думают, что русская мода, как и десятки лет назад – неуклюжие валенки, лагерная телогрейка и буденовка с железной звездой на околыше. Знают ли в мире нашу моду, какие известны имена российских дизайнеров, правда ли, что Валентин Юдашкин знаменит в Париже?

– Мне кажется, вы зря сомневаетесь. Русские модельеры всегда были на слуху у модниц, а иные совершали открытия в мире одежды, стиля, театрального костюма. Я, например, многим обязан вашему Сергею Дягилеву, который широко известен во Франции, в Париже, где есть даже площадь его имени. Я не уверен, что в Москве есть улица или площадь, скажем, Коко Шанель или замечательного русского художника Эрте[4], прославленного у нас. Так вот, я многому научился у Дягилева. Конечно, он жил до меня и я не мог застать его потрясающих Русских сезонов в Париже, говорят, что это были праздники подлинного искусства, праздники такта и вкуса. Они потрясали современников.

Вообще русское искусство удивительно… Меня увлекает создание костюмов для литературных героев, в том числе и для героев русской литературы – Анны Карениной или Наташи Ростовой. Нередко так случается, что знакомство с тем или иным романом дает мне идеи для будущей коллекции одежды. Когда-то я создал серию «Русский балет», в основе которой лежит музыка композитора вашей страны. Я шил платья для Лили Брик, легендарной музы Маяковского.

– Мне неловко об этом спрашивать, я не понимаю многого из того, как создается раритетная одежда, но, скажите, все ваши платья, костюмы, рубашки – это штучный товар, это все делается вручную до последнего стежка? Если это так, тогда служащие ваших ателье – тоже в своем роде творцы. Любопытно, сколько вы им платите?

Мэтр улыбнулся наивности вопроса и, видимо, чтобы меня не обидеть, ответ начал издалека:

– Мои одежды современны и демократичны. Я их придумываю, но создают их и другие люди, их множество, и все они в какой-то мере творцы. Но главное здесь – чтобы я был удовлетворен результатами общей работы. Я чувствую себя хорошо только тогда, когда все идет хорошо в моих делах, но никогда ничем до конца не бываю доволен. Мне помогают мои портнихи, которые стараются выполнить свою работу на отлично, угодить мне и получить собственное творческое удовлетворение. Да, вначале делается ручная часть пошива одежды, потом машинистки на станках и днем, и ночью продолжают работу. Ничего не могу с собой поделать, но часто мне не нравится то, что выходит из-под их рук. И я заставляю их все уничтожить и снова и снова работать даже над тем, во что сам не верю. И если бы я не был искренним в своих поисках, в стремлении к лучшему, к совершенному, эти женщины презирали бы меня. Но они чувствуют мою ответственность за нашу общую работу, за которую, кстати, они получают вполне достойные деньги.

– Господин Сен-Лоран, мне кажется, что вы везучий человек. Вам везло на знакомство и дружбу с выдающимися людьми своего времени. Не стану их перечислять, это был бы длинный список. Но вот одно только имя – бессмертный Кристиан Диор. В моем представлении, если вы – знаменитый король моды, то Диор – ее *Бог. Я вас не обидел?*

– Ну что вы, что вы, по сравнению с великим Диором, который перевернул все представления о красоте одежды и функции моды, мы – его способные или не совсем способные ученики. Моя работа с Диором была для меня равносильна свалившемуся чуду. Он был и впрямь

[4] Роман Петрович Тыртов (псевдоним Эрте, 1892, Санкт-Петербург – 21 апреля 1990, Париж) – знаменитый художник, график, сценограф, модельер русского происхождения, работавший в Париже и Голливуде.

живым Богом, которым я бесконечно восхищался. Он сумел создать уникальные мастерские, он окружил себя исключительно исключительными людьми. А это, знаю по себе, очень непросто. Иногда кажется, что невыполнимо. Кристиан Диор был гениальным учителем. Я обязан ему значительной частью своей жизни, своих успехов.

– После смерти великого модельера в 1957 году вас стали считать его преемником. Так что вы – скромный человек, господин Сен-Лоран.

– Спасибо, но иные считают меня и впрямь скромным и незаметным человеком. Но я горжусь тем, что уже в 1958 году показал свою первую коллекцию в Доме моды Диора.

– Силуэт «трапеция», придуманный вами, имел тогда огромный успех у поклонников радикальной моды, вы сразу же революционизировали французское моделирование.

– Я был доволен, что моя первая выставка имела успех, это послужило толчком, трамплином для будущего творчества. И все под знаком великого моего учителя.

– Ваша работа – это искусство или нечто иное, более приземленное?

– Нет, моя работа – не искусство. Максимум – ремесло, художественная профессия.

– Но, с одной стороны, пошив платья или брюк – это вроде бы производство, машинки, станки, иголки, выбор материала, а с другой – вы же из этого сора, как говорила наша Анна Ахматова, создаете поэзию, произведение искусства. Так, где же истина? Мне все-таки кажется, что вы – творец, создатель, гений, а все остальное – только наиболее приближенное к вашему замыслу воплощение.

– Но я не могу принижать всех, кто создает красоту. Да, мне в голову приходят всякие идеи, но от замысла до его полного воплощения проходит время, недели, месяцы, годы. И модель обдумывается, совершенствуется, изменяется только при совместной работе.

– Еще в 1967 году вы заявили, что хотите найти для женщин одежду, столь же удобную, элегантную и функциональную, что и мужской костюм. Вы можете сегодня подтвердить, что ваша мечта сбылась и женщины, которые предпочитают одеваться по сен-лорановски, стали свободными, красивыми и раскрепощенными?

– Но именно тогда же я заявил и другое: красота сама по себе не представляет для меня никакого интереса. Для меня важен соблазн, натиск, если хотите, шок. Шок в свободе, во вроде бы кажущейся привычной неожиданности женского тела. Я придаю больше значения жесту, нежели взгляду; силуэту, нежели ярко очерченным и, наверное, соблазнительным губам. Мне всегда хотелось, чтобы звучал колорит, а не цвет. Для меня важнее многого в одежде для женщины – мечта о ней и ее мечта о других.

– Этот вопрос из разряда банальных детских игр или же из дежурно-кокетливого ассортимента репортерских вопросов к кумиру. Но обращенный именно к вам, он не звучит риторически. Ваш любимый цвет?

– Что же, я люблю черный цвет. Это видно по моим моделям. Да, черный цвет – это моя власть, мое убежище.

– Глядя на эскизы сфантазированных вами одежд, мне кажется, что главное для вас – не рисунок как рисунок, где заметно художественное несовершенство, а нечто иное…

– Да, да, вы правильно заметили, я ведь не учился в художественной школе, я чувствую, что рисую неважно, для меня главное – полет фантазии, а в нем выразительность.

– Любопытно, какой главный урок вы извлекли из общения с вашими великими предшественниками по ремеслу? Скажем, чему вас научила Коко Шанель?

– Ее советы просты, но гениальны! Она всегда говорила о том, чтобы мы, мужчины-модельеры, не забывали, что внутри платья находится женщина.

– Хотите, я вам напомню о вашем представлении идеально одетой женщины примерно двадцатилетней давности: черный свитер или кофточка и черная юбка, зеленый муслиновый шарф вокруг шеи, браслеты на руках, черные чулки и туфли. А как сегодня вам видится прекрасная француженка?

– О, с той поры многое изменилось, и я тоже. Я так много думал о женских нарядах и так много раз менял свои представления о женщине внутри платья, что кажется, меняя силуэты, спешил лишь за одной жизнью. Впрочем, если говорить о женщине русской, то на свадьбу дочери вашего Славы Ростроповича мое ателье пошило старинную русскую одежду: сарафан, кокошник и ленты в волосах, украшенные драгоценностями.

1987, Москва
2000, Париж

P.S. 1 июня 2008 Франция потеряла выдающегося мастера моды, автора коллекций, во многом сформировавших стиль XX столетия.

Ив Сен-Лоран скончался на 72-м году после тяжелой болезни в своей резиденции в Париже. Прах великого кутюрье по завещанию был развеян в одном из его любимых мест – ботаническом саду виллы Мажорель в Марракеше (Марокко).

Глава 4. Габриэль Гарсиа Маркес в журнале «Огонек»

«В момент истины человек одинок»

– Сколько человек будет участвовать в беседе? – спросил меня Габриэль Гарсиа Маркес, протягивая руку мексиканскому послу.

– Двое, – сказал я, – главный редактор журнала и корреспондент отдела литературы.

Виртуозы Владимира Спивакова настраивали свои инструменты, от обилия звезд и знаменитостей со всего света кружилась голова, в мраморном зале Центрального дома кино было вавилонское столпотворение…

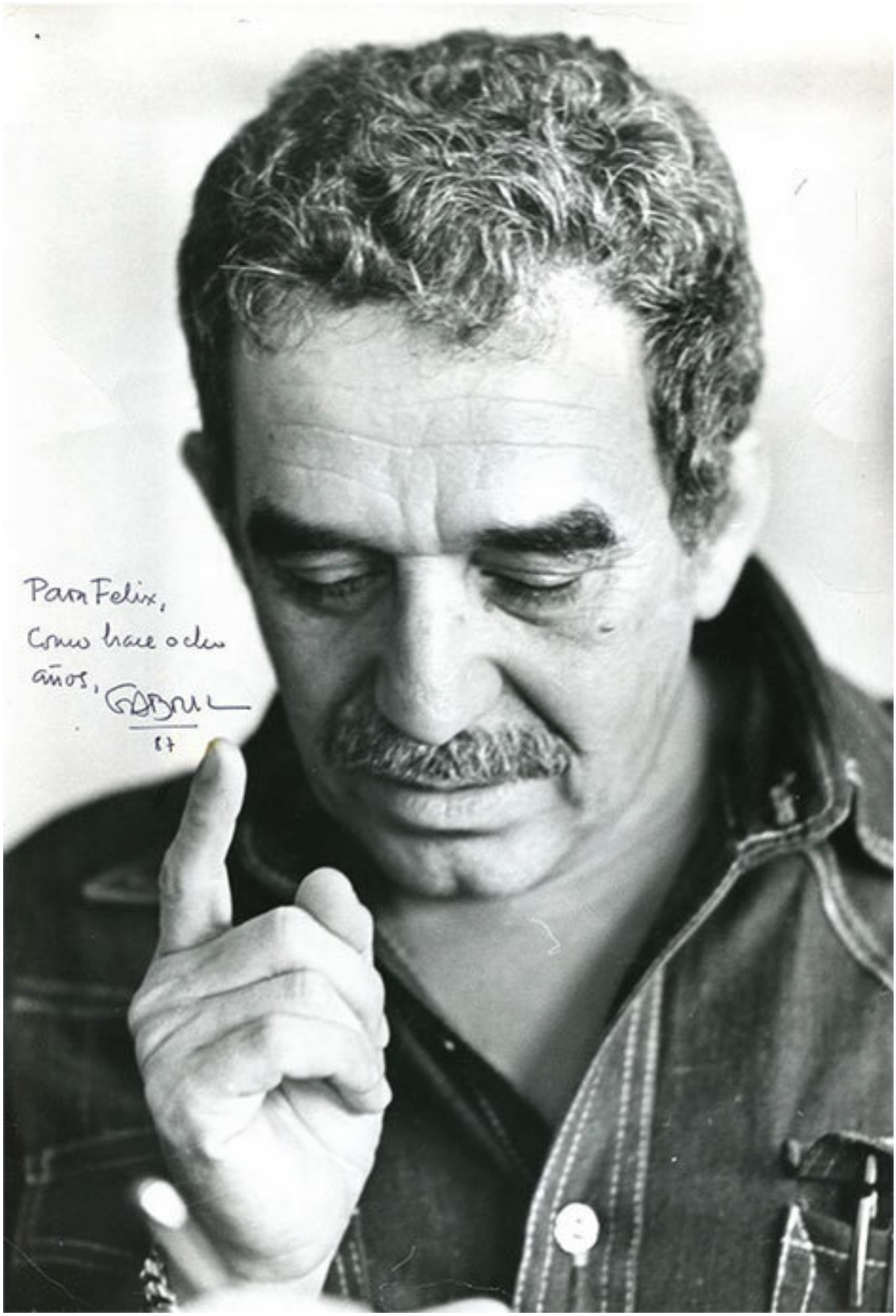
– Мало…

– Тогда мы можем пригласить на встречу всю редакцию – около ста сотрудников.

Маркес на секунду задумался и решительно заключил:

– Десять человек.

Вместе с переводчицей Мариной Акоповой мы подсчитали, что за время пребывания в Москве в качестве гостя Московского кинофестиваля Габриэль Гарсиа Маркес дал около 75 интервью. Это при том, что интервью он давал неохотно и журналистов недолюбливал, сетуя, что никак не может понять одного: почему журналисты всех стран мира договорились задавать одни и те же вопросы. Он уже устал на них отвечать.



Габриэль Гарсиа Маркес

Я заметил, что каждый приезд всемирно известного колумбийского писателя в Советский Союз был окутан тайной. Вполне могло случиться, что тебя официально известят: «Маркес в Москве». На самом же деле он преспокойненько пребывает в эту минуту где-нибудь в

Барселоне или на Кубе. А бывало и наоборот: звонишь в Союз писателей: «Я слышал, что в Москву приехал Маркес…», ответ: «Нам об этом ничего не известно». Это Союзу-то писателей. Выясняешь: действительно, Маркес пьет кофе в гостинице «Россия» на 17-м, его любимом, этаже и в Москву он приехал по линии Союза кинематографистов.

Вот и на этот раз, как рассказали мне, Маркес сам купил в Париже билет, и только тогда в Москву пошла телефонограмма о точном времени его прилета.

Вспоминаю о встрече с писателем в 1981 году, когда он также был гостем Московского кинофестиваля. Интервью, которое мне поручили взять для «Огонька», не получилось: я ходил возле Маркеса кругами, слушал его разговоры с другими, перемолвился с его женой, о чем-то спросил сыновей писателя, наблюдал его московскую жизнь, но прямого контакта с ним не получалось. Тогда, собрав, как мне казалось, минимальный материал, я решил назвать свою статью «В трех шагах от Маркеса». В конечном итоге статья была напечатана позднее, когда пришло сообщение о присуждении писателю Нобелевской премии. (Кстати, лишь в этот его приезд я выяснил причину моей неудачи: Маркес не хотел давать интервью корреспонденту журнала, как ему тогда кто-то нашептал, «излишне тенденциозно-официозного». Тогда «Огонек» возглавлял Софронов.)

На этот раз все было иначе. И гораздо проще. Как только начались переговоры о возможном приезде в СССР Маркеса, он заявил, что непременное его желание – по приезде в Москву встретиться с издателями журнала «Огонек», о котором он наслышан много хорошего.

Итак, суббота, 11 часов. Мы встречаем нашего визитера у подъезда гостиницы «Россия». И – в редакцию. Неведомым способом прослышав о посещении Маркесом «Огонька», поклонники его таланта, коллекционеры автографов уже стерегут мгновенье.

– Ноу, – качает головой Маркес, – ноу, потом, в гостинице.

– Хорошая шутка, – говорит Марина Сергеевна, – в гостинице поймать его невозможно.

Десять сотрудников, ни больше ни меньше, как условились, заняли места за столом. Я пододвинул диктофон поближе к переводчице – ведь больше всего меня интересуют ответы Маркеса. Но Марина Акопова уточняет: на этот раз писателю самому хочется побеседовать с журналистами.

Мгновенно сориентировавшись, мы показываем гостю только что вышедший из печати номер. Марина Сергеевна переводит вынесенный на обложку заголовок одной из статей – «У природы много адвокатов». Разглядывая фотографию – малюсенький силуэт вертолета над кронами высоченных деревьев – Маркес кивает головой. Экологические проблемы его тоже волнуют.

Комментируя материал о постройке в Киеве совместно с французской фирмой швейной фабрики, и делая движение рукой, как бы деля себя напополам, Маркес с присущим ему чувством юмора констатирует:

– Одну половину шьете вы, а другую – французы…

Писатель заинтересовался интервью с академиком Аганбегяном. Он просит перевести ему анонсы, понимающе кивает: «Кому выгодна устаревшая техника?», «Почему „не работает“ заработанный рубль?», но вдруг машет головой: «Как это вернуть качество продукции? А разве оно у вас утеряно?» Как можем, растолковываем этот сакраментальный, вечно больной вопрос нашего производства. И тут Маркес, посерьезнев, спросил:

– А экономическая реформа, о которой здесь пишется, уже принята? Ведь важно действие, а в нем – результат.

В связи с опубликованием статьи А. Стругацкого «Каким я его знал» о режиссере Андрее Тарковском Маркес вспоминает:

– Я познакомился с Тарковским в Италии. Но я так и не понял, почему он уехал из России.

Сообщаем, что несколько номеров назад в журнале было напечатано последнее письмо режиссера из Италии своему отцу, в котором он прямо говорит о причинах, побудивших его задержать возвращение на родину.

– Когда я познакомился с ним, – продолжает Маркес, – в вашей стране была широкая кампания против диссидентов. Но западная пресса никогда не говорит о конкретных причинах отъезда того или другого человека. Всегда сообщается, что это просто еще один диссидент.

Уточняем, что Андрея Тарковского нельзя назвать диссидентом, и что в огоньковской публикации впервые публично объяснены причины его отъезда.

Переводчица вставляет, что Маркесу было бы интересно почитать этот материал.

Перелистываем страницы «Огонька»: «Поэтическая антология», «Русская муза XX века. Борис Пастернак».

Маркес узнает портрет великого поэта, его имя широко известно.

– Я был в Переделкине на могиле Пастернака и испытал большое удовлетворение… Я думал, что эта могила как-то дискриминирована, отделена от других могил, но этого нет, она полна достоинства…

Недавно я видел картину «Онежская быль», она произвела на меня большое впечатление, – говорит наш гость, глядя на щемяще грустные фотографии к материалу «Оставьте нам деревню» – об участи «неперспективных» сел.

– *А в Латинской Америке нет такого?*

– Да, опустение деревень происходит и у нас. Люди бегут в город. Страна совершенно изменилась. Во-первых, потому, что начисто опустела сельская местность. Опустела по двум причинам: из-за привлекательности городской жизни и из-за того, что в колумбийской деревне ведется ожесточенная война. Эта война – социальная борьба между бедным крестьянством и крупными землевладельцами. Отсюда такой трагический исход – опустошение родных гнезд. Сельскохозяйственной продукции становится все меньше и меньше. А в городах – чудовищная перенаселенность. Люди, пришедшие из деревни, без работы превращаются в нищих, в преступников. Проблема, о которой вы сообщаете в этом номере, и в Колумбии становится все острей и острей…

– *Значит, можно сделать вывод, что этот процесс в чем-то схож с тем, что происходит и у нас?*

– В данном случае капитализм и социализм, несмотря на свои принципиальные различия, сошлись. Я думаю, что между капитализмом и социализмом должно быть что-то общее, но все-таки не это, – улыбается Гарсиа Маркес.

– А о чем эта статья? – оживляется собеседник, глядя на улыбающегося с фотографии малыша.

– *Этот материал называется «О пеленке, распашонке и семейном бюджете», он о судьбе молодоженов, у которых маленький ребенок. О трудностях их семейной жизни в самой начальной стадии. Журнал проследит за жизнью Сережи Фокина до его совершеннолетия.*

– Это очень важная публикация, это очень интересно. Как журналистский эксперимент, как исследование.

Оказалось, что мы «сели» на больную тему Маркеса. Дело в том, что Маркес – преданный семьянин. В жене, в детях он ищет опору, надежду и находит ее. Вспоминаю, что в прошлый свой приезд писатель привозил и своих сыновей.

– *Где они сейчас, сеньор Маркес, чем занимаются, почему вы не взяли их в Москву?*

– Старший сын – кинооператор. Второй – дизайнер. Оба они унаследовали творческие возможности отца, но применили их в более практической сфере. Они вообще более практичны – в маму, наверное…

– *Родители влияли на выбор их жизненного пути?*

– Но, прежде всего, есть генетические предрасположенности, которых мы, естественно, избежать не могли. Мы всегда старались влиять на своих детей. Вы знаете, мы старались влиять на них еще и потому, что им всегда было трудно жить из-за их отца. Старший сын, например, учился в Гарвардском университете. И вот за все годы учебы он старался, чтобы как можно меньше из его окружения людей знали о том, кто он. Кто его отец. Но вместе с тем существовали влияния, которые просто неизбежны. Это атмосфера дома, например. Ведь дети помнят, как играли они с Пабло Нерудой, Хулио Кортасаром, Карлосом Фуэнтосом. Им, конечно, не забыть разговоров о литературе, об искусстве… Сегодня они во всех комнатах слушают рок-музыку, молодежные современные ритмы. Слушают так громко, что я тоже вынужден слушать. И они, таким образом, тоже влияют на меня. Правда, когда я слушаю классическую музыку, музыку великих композиторов, я тоже очень громко включаю динамики. И таким образом, – Маркес улыбается, – они любят и то, и другое.

– *Как и вы?*

– Куда мне деваться…

Конечно, влияние среды неизбежно в воспитании. Но дети никогда не пытались писать. Младший несколько лет учился играть на флейте. Я был этим очень доволен. Я был так доволен, что усиленно поощрял его, подталкивал. И, в конце концов, он перешел на графический дизайн. А старшему всегда нравилась фотография. Пока сыновья подрастали, я думал о том, что кем бы они ни стали, они должны быть достаточно культурными людьми… Вообще-то я доволен своими детьми. Старший получил диплом историка в Гарварде, но, чтобы подшутить надо мной, специализировался по средневековой Японии. А когда вернулся домой, начал заниматься фотографией. Так вот, отвечая на ваш вопрос, повторяю, что ни я, ни Мерседес не пытались оказывать на детей никакого давления, но среда, безусловно, на них во многом повлияла. И конечно, на них повлияла позиция, которую занимали писатели, художники, часто бывавшие у нас в доме…

Маркес задумался, сделал паузу:

– Я импровизирую, потому что никогда на эту тему не говорил, меня об этом не спрашивали.

Честно говоря, я был удивлен этой ремаркой. Во многих западных странах институт семьи стоит слишком высоко на пьедестале духовных ценностей. И разве дотошным журналистам не интересно было знать подробности взаимоотношений известнейшего писателя со своими детьми? А может быть, сам Маркес не был расположен к беседам на эти темы?

Меня немного удивило, что писатель не отреагировал на публикацию в журнале статьи об английском художнике Обри Бердслей (в сущности это первая серьезная за многие-многие годы публикация **на Западе,** может быть, не знаком с творчеством Бердслея?).

– *А этот большой репортаж,* с *продолжением в трех номерах, посвящен Афганистану.*

Маркес, став еще серьезней, живо заинтересовался темой.

– Как раз об этом хотел с вами поговорить подробнее. Меня очень волнует, как попал в Афганистан ваш корреспондент, как он прорвался к театру боевых действий? Было ли у него оружие или нет? Я знаю, что западные корреспонденты не имеют права брать с собой оружие, когда выполняют подобные задания органов печати. Как к нему относились военные? И нельзя ли познакомиться с храбрым репортером?

Но Артема Боровика, автора документального очерка «Встретимся у трех журавлей», не было в редакции. Поэтому комментарии давал заведующий международным отделом «Огонька» Дмитрий Бирюков, рассказ которого Маркесу многое прояснил. Примерно в течение получаса он интересовался историей данной публикации, а потом сказал:

– Я не знаком достаточно подробно с ситуацией в Афганистане, чтобы сказать, каким способом ее можно нормализовать, и если Михаил Горбачев не сделал это до сих пор, значит сделать это достаточно трудно. Я только понимаю, в связи с чем может исчезнуть на Западе

обвинение против Советского Союза. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки сделают все, чтобы никогда не исчезла возможность обвинения, чтобы не создавалось такого положения, при котором вас бы не обвиняли, не укоряли. Думаю, что они всегда будут цепляться за эту возможность. Пока вы комментировали публикацию, я все время думал о том, как сложно журналисту быть объективным. В особенности, когда речь идет о международных делах, глобальных проблемах. Ведь те доводы, которые излагает ваша сторона на вопрос, почему советские войска не покидают Афганистан, имеются и у американцев при ответе на вопрос – почему советские войска должны покинуть Афганистан. Эти их доводы излагаются теми же словами и теми же аргументами… Вот почему в этом вопросе и вообще в такого рода нелегких вопросах трудно достичь объективности.

В связи с публикацией интервью, которое дал «Огоньку» блестящий педагог-новатор Михаил Щетинин, рассказываем нашему гостю о проблемах школы в Советском Союзе; поясняем, что в интервью ставится вопрос о том, что наша школа плохо воспитывает гражданина; поясняем, какой «подвиг» совершил в свое время Павлик Морозов.

– Я боюсь, что проблема воспитания гражданина, хорошего человека – это проблема обучения во всех странах. И она меня очень занимает. Я хочу сказать, что дважды в моей жизни были моменты, когда я почувствовал необходимость знать русский язык. Первый раз, когда читал Достоевского и понимал, какой плохой перевод мне попался. И второй раз сейчас, потому что мне так хочется прочесть весь этот номер «Огонька». Я чувствую, что в каждой статье, в каждом материале есть информация, которая многое бы мне прояснила из того, что меня интересует в вашей стране. «Огонек», кажется, еженедельник? С одной стороны, это много, четыре раза в месяц читатель получает достаточно интересную и важную информацию. С другой стороны, это мало: сегодняшняя жизнь очень насыщена, события меняются с калейдоскопической быстротой.

Поясняем Гарсиа Маркесу, что журнал имеет и книжное приложение, в котором, кстати, несколько лет назад были изданы произведения писателя. Предлагаем нашему гостю выпустить в приложении к «Огоньку» собрание сочинений, рассказываем о тиражах наших изданий, о количестве подписчиков на них, о гонорарной политике. Подняв эту проблему, мы не знали, на какую больную «мозоль» наступили, какую больную тему затронули. Гарсиа Маркес перестал улыбаться и начал высказывать свои сомнения и претензии.

– Дело вот в чем. До определенного времени Советский Союз не состоял в официальных отношениях с другими странами в области издательских прав. И теперь ваши издатели считают вполне законной акцией издание тех книг западных авторов, которые выходили в СССР до подписания соглашения, без оплаты автору гонорара. Скажите, справедливо это или нет?! Система оплаты писательского труда у вас необычайно оригинальна и отличается от всех систем мира. Во всем мире мне, как, естественно, и другим авторам, платят за тираж, а не за количество страниц, как у вас. У вас писатель получает одинаковую оплату за тираж в десять тысяч экземпляров и за тираж в тридцать миллионов экземпляров. Справедливо ли это? Во всем мире иная система, мягко говоря, более подходящая, хотя она и не всегда выполняется: это выплата процента от реализованных экземпляров. Ваши же издатели не принимают в расчет читательский интерес публики. А главное именно в нем. И в нравственном культурологическом смысле, и в коммерческом. Поясню свою позицию следующим образом. Я очень доволен тем, как печатаются и как читаются мои книги в Советском Союзе. И я сказал об этом Михаилу Горбачеву, когда встречался с ним. Я считаю большой для себя честью, что одним из моих читателей является ваш руководитель. Я сказал Горбачеву и о тиражах книг. Так вот у вас мои книги издаются чаще, чем в других странах, включая и испаноязычные страны. Повторяю, я этим очень удовлетворен. Мне показывали мои книги, изданные у вас. Правда, только показывали… За них я, к сожалению, ничего не получил. Поймите меня правильно, я зарабатываю вполне достаточно для того, чтобы жить и делать все то, что мне нравится. Когда я сейчас говорю об

этом и когда я обращаюсь к советским властям с претензиями по поводу платы за мой труд, я делаю это не из-за каких-то меркантильных побуждений. Повторяю, деньги у меня есть. Я думаю, что ваша система оплаты литературного труда несправедлива по отношению к западному автору. Я не знаком с условиями, по которым печатают произведения советских писателей. Я мало знаком с материальными условиями жизни советских литераторов. Там, на Западе, писатели живут на заработки от продажи своих книг. Многие из них печатаются и в Советском Союзе. И многие из печатающихся у вас действительно нуждаются в деньгах. В социалистических странах правительства зачастую хотя бы теоретически пытаются решить проблемы жилья, здоровья, образования… На Западе же за все это надо платить. Поэтому западному писателю деньги гораздо нужнее. Вот откуда мои претензии к вашему агентству по авторским правам. Я еще раз подчеркиваю: мне кажется абсолютно неправильной система гонорара, когда платят за количество страниц в том или ином произведении. Я думаю и о себе, и о своих книгах. Да, я понимаю, что Советский Союз испытывает затруднения в валюте. Это не секрет. Хорошо, платите в рублях, в советских рублях. У вас многое можно купить на рубли. Вы в конце концов – одна из самых могущественных держав в мире. Я готов пожертвовать деньги, которые я получу за свои романы, на любое хорошее дело. Я это могу сделать. И прежде всего, чтобы доказать свое бескорыстие. И потом я часто так поступаю, мне нравится это делать, нравится благотворительствовать. Если честно, мало в мире писателей, которые зарабатывают столько денег, как я. Может быть, оттого, что они мало рекламируются, а мало рекламы, мало и денег. Многие не могут защищать свои права, как я. Писатели – творческие люди, они разбросаны по всему миру и слабо объединены, чтобы защищать свои права, свои возможности.

Маркес многозначительно произнес:

– Извините, но я обо всем этом в Советском Союзе говорю впервые. Я решил сказать о вашей гонорарной политике именно в «Огоньке». Хотя Михаил Горбачев разговаривал со мной так приветливо и заинтересованно, что я уверен, он готов был говорить на любую тему. В том числе и на эту.

– *Вы хотите, чтобы об этих проблемах мы напечатали в журнале?*

– Именно поэтому я и говорю о них так подробно. Я хочу, чтобы вы напечатали все, что я говорю.

– *Эпоха перестройки позволит, по-видимому, решить и эту задачу. Во всяком случае, наши ведущие писатели выступают именно за такую форму оплаты, о которой вы говорите, сеньор Маркес.*

– Мне кажется, что у вас сейчас огромное количество людей, которые в силу инерции не хотят пошевелиться, что-то предпринять, чтобы защитить даже свои интересы… На Западе издатель всегда рискует. Риск состоит в том, что в момент подписания договора он платит автору аванс, но если книга не продается, издатель на этом может потерять. Мне тоже авторские отчисления платят заранее, авансом. А потом платят обычную ставку – десять процентов с каждого проданного экземпляра. Правда, мне еще выдается прогрессирующая ставка: восемь процентов до продажи определенного количества экземпляров. А дальше уже десять процентов, пятнадцать и так далее. Но я при этом не могу сказать, что это совершенная система, ведь здесь возникает другая проблема: подсчет ведет издатель, и писателю трудно узнать, что к чему в этих расчетах. Но мне это неважно, потому что моя личная проблема все равно решается в мою пользу. И я выигрываю в том смысле, что выигрывают мои читатели. Но в Советском Союзе есть еще одна проблема: очень мало экземпляров моих книг продается по обычным ценам. То есть по номинальным ценам. Мне рассказали, что мои книги исчезают, не доходя до посетителей книжных магазинов, и возникают на черном рынке, цены на котором слишком высоки для обыкновенного читателя. Честно говоря, я не понимаю, как все это происходит. А мне, между прочим, даже авторских экземпляров не присылают.

Воспользовавшись волнующей нас темой разговора, я попросил у Маркеса предоставить какое-либо произведение для публикации в «Огоньке».

– Сеньор Маркес, мы и гонорар в рублях не забудем заплатить, и авторские экземпляры выделим.

– Я подумаю, у меня есть одна вещица для вас. Мы позже вернемся к этому разговору.

Забегая вперед, скажу: Маркес не забыл о своем обещании.

Через несколько дней после отъезда писателя из СССР, из Барселоны, где проживал литературный агент писателя, пришла телеграмма следующего содержания: «В качестве агента Г. Гарсиа Маркеса подтверждаю разрешение автором в Москве публикации в журнале „Огонек“ рассказа „Следы твоей крови на снегу“. Публикацию разрешаю только в журнале „Огонек“ один раз. Журнал не имеет права передать рассказ: ни полный текст, ни какую-либо его часть другим печатным органам без предварительного согласия автора. Русский текст должен быть передан в редакцию Галиной Дубровской, которой автор поручил перевод рассказа. Будем очень признательны, если журнал перешлет десять экземпляров журнала с переводом рассказа автору и в наши архивы. Мы хотели бы также получить десять экземпляров журнала с интервью Г. Гарсиа Маркеса. Просим подтвердить получение этой телеграммы с извещением о получении разрешения на публикацию и сообщить номер вашего телекса».

…Маркес перевернул кассету в своем миниатюрном магнитофоне – параллельно со мной он записывал всю нашу беседу. Отпил кофе, который явно остыл, – Маркес, забыв обо всем на свете, горячо говорил о волнующей его проблеме. Кстати сказать, деньги, за которые он ратовал, нужны ему были еще и для поддержания созданного им фонда латиноамериканского кино, президентом которого он является. Этому фонду он придает большое значение. Если латиноамериканский роман, как считает Маркес, да и все те, кто читает книги известнейших в мире писателей – Льоса, Кортасара, Фуэнтеса и многих других, достиг своих высот, то латиноамериканское кино еще очень слабо развито. Патриот своей родины, патриот своего континента, Маркес хлопочет о подъеме культуры латиноамериканцев.

Гегель назвал когда-то Латинскую Америку «страной будущего». Наверное, он был прав в том хотя бы смысле, что нужно было дождаться рождения художника такого крупного масштаба, как Маркес, чтобы это утверждение стало фактором всемирной духовной жизни. Так вот, Маркес мечтает еще и на свои деньги создать великий латиноамериканский кинематограф. Нарушив клятву никогда в жизни не возглавлять никакую организацию, он стал президентом фонда нового латиноамериканского кино. Кстати, писатель влюблен в кино, недаром в молодости он учился на режиссерском факультете Римского экспериментального киноцентра.

– Сеньор Маркес, готовясь к встрече с вами, я еще раз перелистал ваши произведения, и мне снова показалось, что все они – об одиночестве. Об этом же чувстве, возникшем при чтении ваших произведений, говорил мне и один советский критик. Главный герой ваших книг – человеческая отчужденность, отъединенность, непонимание, духовная изоляция… Одним словом, «сто лет одиночества»…

– Вам так показалось? Вы знаете, я тоже об этом думал… Правда, вы сказали о критике. Я стараюсь не читать критику на мои книги. Почему? Потому, что если это плохая критика, то читать ее не стоит. А если это хорошая критика, то она может воздействовать на тебя, навязать свою точку зрения. Однажды давно, когда я еще интересовался критикой на себя, я прочел статью об одном из своих первых рассказов. Прочитал и поверил рецензенту, а потом, когда я писал роман «Сто лет одиночества», почувствовал, что мой герой получается таким, каким хотел бы его видеть тот критик. И с той поры я не читаю критических статей. Так вот об одиночестве… Я не знаю, существует ли оно в моем творчестве, но знаю, что оно существует в писателе. Потому что, когда писатель садится за стол, ему никто не может помочь, ни один

человек, никто, никто… Он остается один на один с белым чистым листом бумаги, и это и есть одиночество. В момент истины человек одинок…

– Постойте, постойте, сеньор Маркес, как хорошо вы сказали: «В момент истины человек одинок». Эти слова, с вашего разрешения, я использую в качестве заголовка.

Маркес смеется:

– Пожалуйста. Только скажите, вы заплатите мне за это интервью?

Марина Акопова переводит, что Маркес шутит, его волнуют, как вы поняли, более существенные вещи.

Я бросил взгляд на часы, подходило к концу время, отведенное для разговора, а вопросы к собеседнику не иссякали. Маркес заметил мое волнение:

– Что вы нервничаете? Что вы тут все нервничаете? У вас перестройка – поэтому вы так спешите? А я все равно уже опоздал на встречу с женой и на дипломатический раут. Что у вас там еще? Только не политические вопросы. Я уже много на них отвечал.

Нужно сказать, что поначалу, когда Маркес прилетел в Москву, он был раздражен, мягко говоря, несоблюдением правил приема такой важной персоны, как всемирно известный писатель Габриэль Гарсиа Маркес. И прежде всего со стороны Госкино. Неувязки, недоговоренности, нечеткости следовали одна за другой. Я сам был свидетелем, как приглашенный на ретроспективу фильмов А. Тарковского в киноконцертный зал «Октябрь» Маркес пулей вылетел из зала, не пробыв в нем и двух минут. В чем дело? Оказалось, что устроители ретроспективы не согласовали с Маркесом возможность его выступления, чем он был страшно раздосадован.

Другой свидетель поведал мне о том, как на одном из просмотров наши, как говорится, завсегдатаи буквально сгоняли Маркеса, возможно, севшего не на свое место, из первого ряда, вертя перед его носом своими законными билетами. И таки прогнали. Правда, и здесь Маркес нашелся. Нехотя поднявшись с места, он сказал:

– Завидую режиссеру, на фильм которого даже Маркесу не находится места.

– Я где-то прочитал такой эпизод из вашей творческой биографии: когда вы закончили повесть «Полковнику никто не пишет» и «убили» главного героя Буэндиа, ваша жена Мерседес по вашему лицу поняла, что с полковником покончено, он убит. После этого вы два часа плакали. Для вас это была большая трагедия?

– Я, признаться, часто плачу. Запираюсь в своей комнате и, чтобы не видела жена, плачу… Я очень сентиментальный человек.

– Я случайно узнал, что в своей творческой работе вы используете компьютер. Так ли это? (Современному читателю этот мой вопрос покажется странным, но в конце 80-х годов в нашей стране компьютеры еще были диковинкой. – Ф. М.).

– Но я не делаю из этого секрета. О месте компьютеров в нашей жизни я долго говорил с вашим академиком Велиховым, и эта встреча меня удовлетворила и увлекла. Скажу больше, если бы я раньше придавал значение роли компьютеров, я написал бы намного больше. Вычислительные машины очень помогают человеку.

– В одном из интервью вы сказали, что у вас очень мало близких друзей. Есть ли среди них друзья в нашей стране?

– Информация, которую вы почерпнули, была, по-видимому, дана в плохом переводе. На самом деле я горжусь тем, что у меня есть несколько друзей, с которыми дружу всю жизнь. Это трудно, потому что с приходом славы приятельские отношения обычно рассыпаются, но я сумел сохранить некоторые из них. Так же, как и свою семью, что было очень трудно… Я много путешествую, и всегда одно из желаний в поездках – увидеться с друзьями. Эти встречи незабываемы, ибо только в кругу друзей я чувствую себя самим собой. Во всяком случае, я считаю себя самым верным товарищем моих друзей и глубоко убежден, что ни один из них не

любит меня так сильно, как я. Что касается друзей в Советском Союзе, то они у меня есть, но я не буду называть их поименно, потому что могу кого-то забыть, а это его обидит.

И все-таки в самом конце встречи мы заговорили о политике и спросили Маркеса о его впечатлениях от происходящего в Советском Союзе.

– Ваша перестройка очень важна и для левых сил латиноамериканских стран. Многие в нее верят. И важно, чтобы вы довели дело до конца. Это будет самым важным событием в современной истории.

1987

P.S. Кстати, до сих пор не могу забыть о забавном инциденте, связанном с Маркесом. В 80-е годы я вел в Центральном доме архитектора книжно-литературный клуб, заседания которого посещали многие москвичи. Ноябрьская встреча была назначена на 11 число. Шел 1982 год. К тому времени имя Габриэля Гарсиа Маркеса было одним из самых популярных среди живых классиков XX века. В начале ноября Маркес получил Нобелевскую премию, и я решил в молниеносном порядке провести вечер, посвященный этому событию. Обзвонили членов клуба, отпечатали пригласительные билеты, пригласили известных людей…

Незадолго до начала вечера ко мне подошли два незнакомца и, отведя в сторону, жестко проговорили: «Вы с ума сошли? В такой день собирать митинги?! Надо отменить мероприятие. Умер Брежнев…» Передо мной были «литературоведы в штатском».

Но выполнить их «рекомендацию» я не мог: зал заполнялся гостями, на вечер приехали известные деятели культуры – декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, поэт Евгений Евтушенко, журналисты международники Мэлор Стуруа и Генрих Боровик… Мне страшно хотелось провести это интереснейшее заседание! И не послушав незваных гостей, я открыл вечер. «Мероприятие» прошло с огромным успехом. В культурной жизни Москвы оно стало событием, о котором потом долго говорили.

Как ни странно, меня не арестовали, клуб не закрыли и директора дома не уволили. Почему? До сих пор не могу ответить на этот вопрос. Возможно потому, что после смерти «дорогого Леонида Ильича» Кремлю было не до… меня.

Глава 5. У Расула Гамзатова в Дагестане

Он стоял у самолета, седоголовый, тяжеловатый, смущающийся, уставший человек. Он излучал радушие и доброжелательность. К нему запросто, по-свойски подходили люди. Он жал им руки, перекидывался словом, находил секунды уединения. И все называли его «Расул». Скольких гостей принял он на своей хлебосольной земле, сколько раз вылетал отсюда в столицы мира посланцем солнечного Дагестана!

Расул Гамзатов. Поэт. Философ. Сын Гамзата Цадасы. Отец Патимат, Заремы и Салихат. Дед четырех внучек. Балагур-рассказчик. Дипломат. Поклонник Бахуса. Эпикуреец. Хитрован. Сама наивность. Открытая душа, распахнутый щедрый характер. Человек-эпоха. Удачливый, везучий. Обласканный Сталиным. Гаргантюа и Пантагрюэль одновременно. Санчо Панса и Дон Кихот. Собеседник Шолохова. Друг Твардовского, Фадеева и Симонова. Живой классик. Легенда. Непоседа, объездивший полмира. Проведший часы общения с Фиделем Кастро и Индирой Ганди. Вечный слуга двух самых преданных ему женщин на свете: поэзии и жены Патимат. Коммунист. Наш прославленный современник. Автор сотни книг. Почти памятник.

Народный поэт Дагестана. Лауреат Государственных премий. Лауреат Ленинской премии. Секретарь правления Союза писателей СССР и РСФСР. Член Президиума Верховного Совета СССР. Герой Социалистического Труда…



С Расулом Гамзатовым

Я пробыл с Расулом Гамзатовым восемь дней. По горным дорогам, на вертолете, на машинах мы объездили большую часть Дагестана. Эта страна потрясает. Удивляет. Лишает сна. Красота ее неописуема.

Расул Гамзатов – один из ее добрых хозяев. В стихах, книгах, в его слове о родной земле, о нашем времени, о том, что происходило в недавнем прошлом и происходит сегодня в умах и сердцах советских людей, – многое из того, что передумано, пережито…

До русской дороги и обратно или над и под крылом орла

– Я рад, что мы беседуем с вами в доме моего отца, в его ауле Цада. Это когда-то оторванное от всего мира высокогорное селение связано теперь со всем миром. Отсюда широко и далеко видно. Однажды меня спросили, где находится мой родной дом, и я ответил словами одного из горских мудрецов: «Над и под крылом орла».

При жизни отца здесь побывало много известных гостей: писателей, деятелей культуры. И уже ко мне в гости приезжали Александр Твардовский, Константин Симонов, Василий Гроссман, Эммануил Казакевич, Александр Крон, Сергей Михалков…

Иногда говорят, что меня, дескать, поэтом сделали переводчики. Что ж, я рад, пусть будет так. Правда, об этом я не думал и не думаю. Со всеми своими переводчиками я учился в Литинстатуте в послевоенные годы, дружил с ними еще тогда, когда никто не знал, кем и чем мы будем на этом свете. Я благодарен им, что они помогли мне обрести всесоюзное имя, стать известным русскому читателю.

Да что говорить, у меня есть национальное чувство, а националистических чувств нет, и не может быть. Да и не только у меня, у всего моего народа.

Вот видите, идет дорога. Называется она русская дорога. Нам, мальчишкам, говорили когда-то: «Бегите до русской дороги и обратно». Горский народ всегда шагал до русской дороги и возвращался обратно в свои аулы. По русской дороге все дагестанцы пошли – и весь мир увидели, и историю свою утвердили, традиции прославили. Революция много дала и России, и всем народам, ее населяющим.

Есть такое выражение: в того, кто выстрелит из пистолета в прошлое, будущее выстрелит из пушки. Сейчас идет перестройка, ломка старого, но я считаю, что нельзя все ломать. Хорошее надо беречь, хранить, восстанавливать. В рубке с плеча можно многое потерять, и потерь этих нам не простят.

Будто в груди у меня два сердца бьются: одно «за», другое «против». Будто надвое я разделен, на вечер и утро. По-моему, очень плохо, если бывает в стране так, что все от одного человека зависит. Был культ личности, а потом стал культ должности. Я не принадлежу к тем людям, которые при гостях гостей хвалят, за них пьют, объясняются им в любви, а когда гости уходят, начинают их ругать вдогонку.

Молчать о людях, которые принадлежат истории, несправедливо. И я хочу знать, чему я так верил, почему меня обманули и в чем? Если и вправду в то время, в которое мы жили, были преступления, их прощать нельзя и оправдывать их не следует. Но делать это не без оглядки, а учитывая и взвешивая конкретные обстоятельства. Многие трагически ошибались, они думали, что государство укреплялось. Если оно и укреплялось, то человек-то мельчал. Считаю, что и сегодня мельчает, ибо в него внедрилась болезнь, которую Ленин называл комчванством, бюрократизмом.

В последнее время все чаще и чаще я слышу такие вопросы: «Что же мы так? Неужели все у нас плохо?» За рубежом меня спрашивают об этом, в ауле родном, да и сам я спрашиваю себя: «Что же получается: работали, трудились, жили, пели, танцевали – и все руководители после Ленина были, оказывается, „плохие“? На этот вопрос четкого ответа я еще не слышал. Ответить же на него надо. И ответить правильно».

Вы спрашиваете меня о том, как, будучи в течение двух десятков лет членом Президиума Верховного Совета СССР, я тоже голосовал за те или иные ошибочные указы, постановления, за награждение тех или иных «героев», как мы теперь знаем, недостойных людей. Если честно, я часто сомневался, я думал: сколько золота идет на эти ордена и медали, сколько средств тратится. Но подход к делу и здесь был бюрократическим: в десятой пятилетке стольких-то наградить, в одиннадцатой пятилетке – стольких-то. Разве так можно?! Вот и функционирует без

продыху ведомственное издательство Верховного Совета СССР. А что издает? Стенографические отчеты сессий Верховного Совета на пятнадцати языках. Эти же указы затем издаются на местах. А надо ли так? Ведь лежат те фолианты, напечатанные на хорошей бумаге, мертвым грузом. Конечно, голосовали за многие решения, правильные, человечные, справедливые. Только как жалко, что, несмотря на эти решения, преступность снижается медленно, что с алкоголизмом приходится вести яростную борьбу, что здравоохранение у нас не на высоте. Я раздвоен. Одна истина остается по левую сторону, другая – по правую. Наверное, разные поколения по-разному думают, по-разному оценивают события.

Я вырос в Дагестане, в семье, в которой Ленина мало изучали. Больше Сталина цитировали. И первое стихотворение я о нем написал, совсем мальчишкой напечатал ту оду. Редактор газеты восклицал в передовой статье, что в горах не будет человека, который это стихотворение не выучит наизусть. Как тогда праздновали день приезда Сталина, ведь он автономию республики объявил!

За поэму, написанную о событиях тех лет: о приезде вождя, получении автономии, рождении республики – дне, который каждый считал днем своего рождения (я это искренне написал), – я получил тогда Сталинскую премию. В то время у моего народа все было связано с ним одним. Быстро меняется история: сегодня дата празднования автономии в республике перенесена.

С другой стороны, я считаю, что у меня украдено время. Часть жизни украдена. От меня многое, оказывается, скрывали. Я жил в ауле, ходил в школу, и от меня скрывали какую-то часть истории, целый ее пласт. Одних поэтов скрывали, а других преподносили. Полностью я не знал тогда даже Маяковского. Я воспитывался на стихах Жарова, Безыменского, Виктора Гусева. Жизнь была огромным театром, и что происходило за его кулисами, о том я не ведал. Я просто всему наивно верил. И когда в 1937 году четырнадцатилетним мальчишкой из газет я узнавал о репрессиях, то мне воистину казалось, что сажают врагов народа. Было такое, было…

Меня часто спрашивают, сильно ли было влияние отца? Как тут ответить? Я считаю Гамзата Цадасу великим поэтом, но стихотворцем я стал, когда самостоятельно, без его влияния серьезно занялся поэзией.

В 1945 году, после войны, я приехал в Москву, поступил в Литературный институт. Приехал из многоязычной республики. В Дагестане националистических тенденций никогда не было, национальное, может быть, было, а националистическое – никогда. У нас считалось (не приписываю себе, у нас так говорят), кто соседа ругает, это дурак дома, кто другую нацию ругает – это глупец нации, кто другую страну ругает – это дурак страны. Уважение к старшим, хорошее отношение к женщинам, гостеприимство – все это извечные горские традиции. Детство мое было счастливым – отцовский дом всегда был открыт гостям.

К отцу приезжали Николай Тихонов, красавец Владимир Луговской. Одиннадцать лет мне было, когда первые свои стихи им читал. А они читали свои стихи отцу. Это они открыли отца всему свету. Позже приютили меня в Москве. При сдаче экзаменов в институт в первом же сочинении я сделал 60 ошибок, ровно столько, сколько сделал и мой сосед по парте. Много возились со мной, много. Я не знал в ту пору самого элементарного: кто такие чукчи, евреи, кто такие русские. Я просто об этом не думал. Каждый день открывал для себя что-то новое. В Большом театре Уланову в первый раз увидел – открытие. Тарасову во МХАТе – открытие. Пастернака встретил – открытие. Эренбурга услышал – открытие.

Собрания, обсуждения, осуждения – тоже открытия. Как молодой коммунист, я участвовал в одном из них и тоже кого-то там клеймил. Рядом со мной сидели иные известные писатели, которые тоже разоблачали. Обо всем увиденном я написал отцу. Тот срочно вызвал меня в Дагестан. «Ты читал произведения писателей, которых клеймишь?» – спросил он. «Нет, не читал, – ответил я, – но пишут же о них в газетах». Отец строго посмотрел и произнес: «Ну какое же ты право имеешь, не читая писателя, судить его».

Не скажу, что тогда я очень уж послушался отца, но в дальнейшем старался не поступать так опрометчиво. А собраний много было. По Пастернаку, по Твардовскому, по музыке, по космополитизму…

Но что же стало с моим народом в те годы? Вся партийная организация республики была разгромлена, вся интеллигенция, которая революцию делала. Сжигались книги, библиотеки, которые люди, ставшие по чьему-то произволу виноватыми, собирали долгие годы. Еще не так давно мне хвастались те, кто сжигал в свое время целые вагоны книг так называемых буржуазных националистов.

Радостно сегодня, когда Россия как нация, большая великая нация, отмечает юбилей Куликовской битвы, «Слова о полку Игореве», Пушкина… Но, к сожалению, значение истории подчас принижается. В Махачкале отменено, например, изучение дагестанской истории в университете. Как же так можно? Изучение истории своего народа не мешает изучению истории других народов. Лично я, например, очень благодарен арабской культуре, потому что мой отец был образованнейшим человеком. Ромена Роллана, Толстого, Чехова, других авторов он читал в переводе на арабский.

Я считаю, что любая культура заслуживает того, чтобы преклоняться перед нею. Как долго у нас считалось, что лучшее разрешение национального вопроса – умалчивание о нем. Все делалось так, будто вопрос этот давно уже снят с повестки дня.

Как же мы хотим приукрасить себя в своих собственных глазах!

Проблема отцов и детей во всем мире существует. У нас же делали вид, что она разрешена окончательно и бесповоротно.

Будто бы все у нас гладко, без сучка, без задоринки. До того дотянули, что тяжело стало ошибки исправлять.

Многое я пытался выразить в своих стихах. Я, правда, не публицист. Гражданственность у нас по-разному толкуют. Сейчас идет перестройка. Оглядываясь назад, нужно идти вперед – это необходимо. Иначе нельзя. Только стремление свое не показывать надо, а доказывать.

Но в каждом хорошем начинании, к сожалению, появляется иногда порча. Сейчас наблюдается то, что я бы назвал однобокостью: крикуны, говоруны, ниспровергатели. Под видом гласности – голосистое кликушество. А истина-то – в серьезной дискуссии, в сопоставлении разных взглядов.

С другой стороны, если оглянуться назад, одноцветность очень помешала развитию литературы. Какая радость – возвращение многих писателей!

Далеко не каждый сегодня принимает на себя ответственность за происходящее. Очень эгоистичны мы стали. Больше о себе думаем, забывая о ближнем. Как же приблизить нашу идеологию к душе и сердцу каждого?

Если мы каким-то преступникам амнистию объявляем, почему в литературе амнистий не объявить! Как Бунину когда-то. Мы простили его и по-прежнему любим. А если бы не вернули, не простили?! Чего-то не хватало бы нам без Бунина, брешь зияла бы в литературе.

Появление новых «старых» имен не должно умалять других авторов, которых мы знаем и любим. Литература – не та сфера, где, если кто-то пришел, другой должен уступать место. В литературе места всем хватит.

В Дагестане тоже иные думают: а не проглотит ли русская литература нашу национальную? Уверен, что нет. Это абсурд. Именно русская литература, революция утвердили нашу культуру, возвратили нам во многом нас самих.

О многом из того, что мы сейчас переживаем, еще Ленин предупреждал нас. О комчванстве, например. Коммунист у меня всегда ассоциировался с чистотой взглядов. Но сколько среди них было и есть еще случайных людей. Бумажных коммунистов.

Я был участником, делегатом семи партийных съездов. Особенно мне запомнились XXII и XXVII съезды. Потому что на них говорили о человеческом достоинстве, о совести, о правде,

о взаимоотношениях людских. Я участвовал и во всех писательских съездах, начиная со П-го. II съезд и последний, VIII-й, были, по моему мнению, самыми интересными. Я не хочу умалять значения остальных съездов, они были в чем-то важными, но не было на них критических выступлений, все больше аплодисменты звучали, больше было показного, неискреннего единодушия. Не хватало на них яркого острого слова Валентина Овечкина, Александра Твардовского, Михаила Шолохова.

Мне запомнились все речи Фадеева, произнесенные с чувством, с достоинством, со страстью.

В рабочем кабинете под трель телефонных звонков

– Недавно я был в Англии и от многих там слышал, что духовная столица мира сегодня – Россия, Советский Союз. Еще недавно мало интересовались тем, что у нас происходило. А нынче на нас смотрит действительно весь мир. Смотрит с надеждой, с озабоченностью: победит ли перестройка? Я тоже задаюсь этим вопросом. Да, мы против культа личности, против насилия, против нарушения прав человека. Но я вижу ростки культа должности, препоны со стороны чиновников.

По нашим аульским законам вначале всегда старшего спрашивают, того, кто больше звезд видел. А сейчас собрания откладываются, свадьбы откладываются… Ждут, пока районный милиционер придет, он «должность» привезет с собой, без которой нельзя начинать мероприятие. Я, естественно, не против должностей, но не следует преувеличивать их значение в каждом людском деле.

Ко мне как к депутату приходят люди: «Помогите попасть к тому-то и к тому-то». Мне уже кажется, что к министру простому человеку попасть невозможно. Тысячи людей ищут правду. Тысячи людей стоят в очередях канцелярий, пребывая в бесконечных ненужных командировках, отпусках за свой счет.

Наша борьба с бюрократизмом превращается подчас в говорильню. По-прежнему много различных бумаг, много пустых решений! Каждый день какие-то инициативы появляются. Но надо же старые начинания доводить до ума, не забывать о них. Чувствую, что заседаний больше стало, во всяком случае, в наших писательских организациях. И многие нерезультативны. Ибо царят на них занудство и тоска.

Литературное мастерство стало наследственным даром. В Литературном институте учились отцы, а нынче учатся их дети и внуки. Я бы назвал это родственным эгоизмом.

Эгоизм этот и в науке есть. И в искусстве. И в дипломатии. Даже в торговле. Слышал я такое недавно: на родственном совете решили одного представителя своего клана «сделать» Героем Социалистического Труда и все труды и заслуги приписали ему одному. Что бы вы думали? Удалось.

Не нравится мне суета некоторых уже немолодых писателей, которые поскромнее должны бы себя вести. Они считают, что перестройка благодаря им наступила. Да, настал черед Пастернака. Но ведь не секрет, что иные из этих «немолодых» голосовали за исключение Пастернака. А ведь они знали уже тогда все его стихи, все его произведения, знали, что он подарил России прекрасные переводы Шекспира, Гете, Бараташвили. Отчего же молчали?

О Твардовском много сегодня говорят и пишут. Твердят, что музей Твардовского надо открывать и все такое… Но, дорогие мои, сходите на его могилу, посмотрите, в каком она запущенном состоянии. Хоть бы цветок положили. Где были те или иные из нынешних смелых, когда после публикации «Нового мира» сочинялись коллективные письма под названием: «Привлечь к ответственности за…»? Где были они, когда травили Твардовского, уже больного, били лежачего?! Почему же тогда не защитили большого поэта?

Последние годы мне посчастливилось: я очень дружил с Твардовским. Я не люблю хвастаться документами, но есть его письма ко мне, он приходил ко мне в гостиницу, я бывал у него дома. Что меня лично в нем привлекало? Отличное знание всей европейской поэзии, восточной поэзии, Хафиза, влюбленность в китайскую поэзию. Он был скромен. И в статьях своих, и в разговорах, и в делах. Был самостоятелен, самобытен. Никогда не стремился кому-то понравиться.

Вспоминаю знаменитый бар около Литинститута. Частенько я там бывал. Приходил и он. Не забыть задушевных разговоров. Мои стихи, честно говоря, он никогда не хвалил, а «Мой Дагестан» напечатал.

Стал я членом редколлегии «Нового мира», а «Литературная Россия», членом редколлегии которой я тоже был тогда, написала гнусную статью о «Новом мире» и об Александре Трифоновиче. Твардовский мне сказал: «Я написал протест, и ты, если хочешь, выбирай между мной и „Литературной Россией“».

Он меня другом считал, но я не могу назвать его другом. Он для меня слишком могучий человек. Он не любил почему-то ездить в республики, но ко мне приезжал в аул, вместе с женой Марией Илларионовной.

Я не видел его ни разу записывающим что-либо в записную книжку. Все старался запомнить. Как хорошо, что в моем архиве сохранилось много снимков о пребывании Твардовского в Дагестане! Глядя на них, я ощущаю, каким духовно богатым он был в тяжелые моменты своей жизни…

Поэму «Два сердца», написанную давно, я дал Твардовскому на прочтение. Он ответил мне письмом, которое я, конечно, храню. Письмо было суровым. Александр Трифонович резко меня критиковал. Я не обиделся на него за это, хотя считаю, что он не во всем был прав. Зря Твардовского некоторые считают безгрешным. Безгрешных людей нет. И я его уважаю так, как, быть может, мало кто уважает. Это великий писатель. Но у него тоже были грехи. Быть может, в чем-то он был неискренен. Время было иное. Вообще история разберется.

Письмо его, хочу вернуться к этому, меня удивило. Он корил меня за то, что я беру тему из загробной жизни, что я якобы у кого-то другого перенял художественные приемы. Возможно, на себя намекал. Если так рассуждать, Твардовский в своем «Теркине на том свете» тоже не нов. Сколько до него было написано об аде и рае. Потом я понял, в чем дело, почему Александр Трифонович так разъярился на меня. Его покоробило то, что свою поэму я читал другой персоне. А ему об этом сказали. Да, читал, но ведь это было моим правом. Персона – тогдашний редактор «Известий» Алексей Аджубей. Поэма моя пролежала в столе 25 лет.

Твардовский называл себя другом, но на самом деле он был учителем. Но этого он никогда не подчеркивал. Не выпячивал свое наставничество, свое учительство. Его поэзия была на стороне слабых, рядовых людей. А мы очень часто были на стороне сильных. Хотя это противоречит природе, природе литературы, мы как бы сало мажем маслом.

Меня тогда трогало, как дружили Фадеев, Федин, Светлов, Смеляков. Все встречались в ЦДЛ, за чаем или бокалом вина, подолгу засиживались за дружеской беседой. Хотя, помню, Твардовский мне однажды сказал: «В ЦДЛ не ходи. Если хочешь выпить, иди в другое место».

Среди развалин древнего Дербента

– Откуда только пошла гулять пресловутая формулировка «преклонение перед Западом»? Преклоняться перед Гете, перед Флобером, перед Гейне, преклоняться перед японской поэзией или китайской поэзией Ду Фу – разве это плохо?!

С другой, правда, стороны, влияние Запада и Востока нивелирует национальные черты.

Быстрые побеги дает лишь национализм, подлинный интернационализм труднее воспитать. Вот примеры. Дагестанец женится на русской. Это преподносится как факт интернационализма. А дело-то все в самом элементарном и банальном, что полюбили друг друга молодые люди. Или – в колхозе работают люди пяти различных национальностей и живут они мирно, дружно, не дерутся. Плоды интернационализма, кричат твердолобые догматики. Значит, если колхозники намылят друг другу шею, не поделив, допустим, очередь за импортной косметикой, – это национализм? Глупость! Вообще мне кажется, что в Дагестане проблемы интернационального воспитания разрешены лучше, потому что в многоязычной нашей республике сама жизнь этого требовала. Конечно, великий русский язык стал для всех нас объединяющим вторым языком. Да, я поддерживаю двуязычие, билингвизм. Двуязычие для наших народов – это как два родных языка. Но двуязычие нельзя насаждать. Я говорю о своем народе, а личное дело грузин или эстонцев – принимать билингвизм или нет. Я считаю, что чем больше языков знаешь, тем лучше. Для малочисленных народностей это особенно важно. Вспомним сказанные кем-то слова: сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек. Я рад был бы сейчас и английским владеть, и французским. Но увы… Новое поколение, думаю, будет образованнее нас, а значит, – «интернациональнее».

Языки, с материнским молоком впитанные, не исчезают со временем. И идет сейчас процесс не исчезновения, а утверждения языков. Только в последние годы в Дагестане созданы детские журналы на пяти местных языках.

Правда, в городских школах сложно наладить изучение языков. Города у нас многоязычные, на всех языках сразу преподавание в школе не организуешь, поэтому обучение идет на русском языке. Но в этом ничего плохого нет, это естественный процесс.

Я с подозрением гляжу на людей, которые высокомерно говорят про историю других народов: «Приукрашивание…» В Узбекистане – древняя история. В Грузии – древняя история. В Армении – древняя история. Разве можно сомневаться в этом? Да и зачем? Что есть, то есть. Чья-то история моложе, чья-то древнее, глубже. Надо изучать друг друга. А не завидовать, не развращаться злобой. Это же прекрасно, когда народы будут знать историю друг друга. Ведь столько еще непознанного в любой истории.

Да, русских людей повсюду привечают, как старших братьев. Но элемент недоверия вызывают назначения, допустим, в хлопковые районы людей из Рязани. Это дает пищу для разжигания националистических настроений.

Сейчас нужен культ человека. Не культ должности, а культ человека. Даже в 1937 году мы пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Но вольно дышать – это не только жить у себя дома, но и мир посмотреть, по Парижам поездить, лондонского тумана вдохнуть. Надо чаще выезжать за границу. Не общаясь с зарубежными странами, не имея научных, литературных, культурных связей, как можно двигаться вперед? Хорошо, что много в этом отношении сделано XX и XXII съездами партии. Надо срочно облегчить человеку оформление поездок за границу, снять нервозность в этих делах. Сколько комиссий проходим, бумаг оформляем, чтобы выехать за рубеж! Ощущаю это на себе. В конце концов, я не прогуливаться еду, а по литературным, государственным делам.

Образование получить у нас – подчас тоже бюрократическая волокита. Зачем, к примеру, человеку из республики при поступлении в вуз писать сочинение на русском языке? Меня ста-

рославянский язык обязывали учить. А он мне ни разу не пригодился. Наверное, знание старославянского – не лишнее, но лично у меня такой надобности не было. Так вот, за сочинение с ошибками абитуриент из республики не попадает в институт. Считаю, что это несправедливо.

Как необходимы сегодня связи между людьми, народами! Есть у нас телефонная связь, есть почтовые связи. Вот душевных связей больше надо, они самые главные.

На месте пленения Шамиля

– Очень больной для дагестанцев вопрос – судьба Шамиля, которого даже Маркс считал героем освободительной борьбы. Национальным героем. В свое время Чернышевский, Добролюбов, многие другие высоко оценили его борьбу против колонизаторов. Он первым не нападал на Россию. Это царские генералы приказывали сжигать селения, аулы. И Шамиль возглавил борьбу за свободу. Почему его и сегодня иные продолжают считать «реакционным деятелем»? Писатель Пикуль бросил совершенно бездоказательное обвинение в адрес Шамиля, публично объяснившись в ненависти к нему. Но кто виноват, что появился такой герой – Шамиль? Ответ один – царь, его завоевательские устремления. Если нападает враг, нельзя сидеть сложа руки. Это не в характере горца. Первым Шамиль никого не обижал. Только вот «обижал» царя в течение 25 лет, пока боролся с его экспансией, выражаясь современным языком…

Давно уже я написал и до сих пор не могу напечатать поэму «Шамиль». Не скажу, что это хорошая поэма, что это моя большая удача, но искренне верю тому, о чем рассказал. Некоторые люди у нас боятся имени Шамиля больше, чем волка в степи. Больше, чем самого царя, который воевал с ним. У одного руководящего работника я спросил: «Почему вы так боитесь Шамиля?» – «Из-за того, что я Шамиля не упомянул, ничего не случится, а за то, что упомянул, меня снимут с работы», – ответил он мне. И в самом деле это так. В Дагестане шла пьеса о шамилевских битвах. Никто из руководства ее не смотрел. Между тем пьесу сняли по телефонному звонку.

Чего мы боимся? Истории? Правды? Самих себя? Или снова и снова страшимся жупела национализма? Но у Дагестана своя национальная история, а в этой истории – свои герои, судьбы, свои сложные социальные коллизии. Зачем же «вырезать» историю, она ведь не кинопленка. Дагестан – республика, а не только заготовительный пункт. Имя Шамиля нельзя вырвать из нашего прошлого. Нельзя! К движению Шамиля, к его действиям с симпатией относились не только дагестанцы, но и лучшие русские люди, лучшие писатели России, социал-демократы. Этому движению сочувствовал великий украинец Тарас Шевченко, его приветствовали ученые Азербайджана, Грузии, Казахстана. И в нашем современном Дагестане нет такого поэта, который бы не помянул добрым словом имя легендарного народного вождя.

Мне дорога Россия. Я перевел многих русских писателей. Но почему же иные русские писатели, ученые бесцеремонно вторгаются в нашу историю, искажая ее, уродуя. Ведь нельзя отнять то, что в душе у народа.

Мы привыкли к «Хаджи-Мурату» Толстого; нельзя требовать от Шамиля и от Хаджи-Мурата, чтобы их сложные судьбы «вписывались» в сегодняшний день. Они противоречивы. Ведь их борьба с царем длилась четверть века. Сами противники его уважали. Нельзя быть вульгаризаторами истории. Каждый народ в свое время воссоединился с Россией при разных исторических обстоятельствах. Если будем рассматривать их борьбу за независимость как борьбу против русского народа, это будет глубокой ошибкой. Оскорбительной не только для коммунистов, но и для всех мыслящих людей.

В свое время вместе с Гией Данелия и Владимиром Огневым я написал сценарий к фильму «Хаджи-Мурат», Данелия должен был снимать эту картину. Но нашлись люди, которые сразу же приклеили нашей работе ярлык: дескать, она мешает дружбе народов. Но почему мешает? Лев Толстой не мешает, а я мешаю? О Шамиле существует очень много литературы, в том числе повесть Петра Павленко, давно не переиздававшаяся. С именем Шамиля связаны те или иные страницы нашей современной истории. Многие поплатились карьерой, судьбой, а то и жизнью только за то, что сказали правду об отношении к Шамилю, о его роли в истории дагестанского народа. Если кто-то думает, что для интернационального воспитания нужно именно так искажать историю, то он глубоко ошибается. Такое отношение озлобляет человека,

с уважением относящегося к истории. Перестройка должна коснуться и имени Шамиля. Это очень важно.

В запасниках галереи

– Мы смотрим на картины знаменитого дагестанского художника Халила Мусаева. Судьба его трагична. Родился он в селе Чох. Рано раскрылся как талантливый художник. Первым из дагестанских художников иллюстрировал русские, советские журналы. Он писал прекрасные картины: образы горянок, природу, талантливо писал, с большой душой. В 1921 году Халил поехал учиться в Германию, там женился. На Родину не вернулся, остался на чужбине. Умер Мусаев в Нью-Йорке в 1949 году. Его картины на Западе получили признание, имя его широко известно в Европе, в Америке. А вот в Дагестане имя Мусаева запрещено. Те, кто любит искусство, знают о нем, знают его творения. Но официального признания он не получил до сих пор. Разве так можно? Судить человека, который не сделал ничего плохого своей Родине, своему народу?! В Дагестане не так уж много выдающихся художников. Разве можно бросаться такими, как Мусаев?! Он был, кроме всего, смелый, мужественный человек. У нас до революции запрещали рисовать человеческие лица. Халил рисовал людей – героев, певцов, красивых женщин. Он любил человека, горца, горячего, пылкого патриота. Повторяю, мы уголовников амнистируем, а вот талантливых людей, оставивших в истории свой след, амнистировать боимся. Почему?

Во всемирно известном селении Кубачи[5]

– Еще одна проблема гложет меня. Судьба золотого и серебряного дела в Дагестане. Всего четыре мастера осталось… А там – конец, некому перенять секреты уникального народного промысла в республике. Сейчас мастер – как поэт-единоличник. Индивидуальное хозяйство поэта – его душа. И у златокузнеца также. На весь мир известен дамасский кинжал. У нас не хуже – амузгинский. Клинками, изготовленными в Амузги, пользовались полководцы, маршалы, сам Шамиль. Но вот аул переселили, и исчезли мастера. Да и аул сам исчезает, две-три семьи остается. А мастера эти были в свое время такие же прославленные, как кубачинские. Сегодня уникальные поделки находятся только в музеях. Ленин называл дагестанских художников – великими. Как же вышло, что в Дагестане не оценили этих мастеров? Приезжают туристы из-за рубежа, восхищаются, смотрят, ищут редкостные изделия. А мы к ним, можно сказать, равнодушны. Почему? По какому праву прервали нить времен? Это всесоюзного значения вопрос, всемирного значения. Сегодня наши народные мастера – это не художники, с горькой усмешкой говорю я, потому что работают они для плана, стаканчики делают, рога. А скажите, как запланировать любовь? А мастерство? Иногда Министерство культуры заключает с мастерами договор. Все заказы отражают современный стиль. В плохом смысле. Со слезами я слышу стоны мастеров: «Мы умрем, нас не жалко уже никому, нам некому передать свое искусство…»

[5] Один из крупнейших художественных центров Дагестана. В раннем средневековье был известен изготовлением кольчуг и оружия. В XIV–XIX вв. прославился резьбой по камню и бронзовым литьем. В XVIII–XIX вв. высокого расцвета достигла художественная обработка металла, особенно производство и украшение ювелирных изделий и оружия.

По дороге в театр на вечер, посвященный 110-летию Гамзата Цадасы

– Меня тревожит массовость в искусстве, в литературе. Ведь искусство – не спорт. Одних писателей сейчас чуть ли не одиннадцать тысяч. На писательских съездах (стыдно было участвовать в этом) самый большой спор разгорался не из-за какой-то важной творческой или государственной проблемы, а во время голосования, вокруг кандидатур. Но если по высокому счету подходить, разве имеет значение та или иная кандидатура? Значение имеет только одно – талант. Как часто у нас случается: сначала мы раздуваем авторитет, а потом начинаем его поносить. Разве можно так подходить к духовным ценностям: то белым мажем, то черным. И наоборот. Как разобраться в этих метаморфозах поколениям молодых читателей?

О наградах и званиях… Я – народный поэт. Но я не хочу, чтобы меня народным называли. Твардовского не называют, Маяковского не называют, Блока не называют, Пушкина не называют. В России нет звания народного поэта… Во Франции, в Италии тоже нет. Если хочет народ, сам назовет. Ведь в слове «поэт» уже большая обязанность, ответственность, и это не звание, не должность.

До какого бюрократизма мы докатились: по телефонным звонкам запрещаем спектакли, песни, по телефонным звонкам даже звания присваивают. Один чиновник звонит другому и, не глядя друг другу в глаза, решают серьезные творческие общественно значимые, я бы сказал, народные дела. А хочется открытых обсуждений, серьезности подхода к судьбам поэтов, художников.

Хоть мы критически оглядываемся назад, но я с удовлетворением вспоминаю прошлые дни литературы, широкие обсуждения литературных произведений.

Какими демократическими были отношения друг с другом в годы моей молодости! Фадеева я видел много-много раз, но поначалу все стеснялся подходить к нему, скромность мешала. Но он был простым в отношениях с молодыми людьми, сам приходил в Центральный дом литераторов, не считал для себя зазорным. Иные же нынешние руководители считают ниже своего достоинства посидеть рядом с начинающими.

Думается мне, нам надо самокритично подходить к своим поступкам в прошлом и соотносить их с общественным поведением сегодня.

Я тоже ошибался. И у меня временем много украдено. Самобичеванием я не призываю заниматься, но «храбрецы на час» нам не нужны. Как пышно, приторно отмечался юбилей пятидесятилетия Союза писателей. Какие юбилейные дифирамбы пелись! Складывалось впечатление, что без одного-двух человек литературы не было бы вообще.

Сейчас поэму напечатать тяжелее, чем раньше. Сейчас редакторы считают, что больше 500 строк в поэме не может быть. Кто им дал такое право? Если бы так было, Твардовский поэмы не печатал бы, Блок поэмы не печатал бы. Почему нельзя печатать хорошие поэмы?! Тем более что многие из них – летопись революции. Ярослав Смеляков в журнале «Дружба народов» редактировал мою «Горянку», это четыре тысячи строк. Ее ведь напечатали. В «Литературной газете» Константин Симонов напечатал целиком мою поэму «Разговор с отцом». После этой публикации я получил от Фадеева письмо. Хорошее, доброе, доброжелательное письмо. Дело в том, что именно тогда у меня в нескольких местных журналах появились подборки стихов. А Фадеев, оказывается, за всем следил, по-отцовски внимателен он был к своим товарищам, коллегам-литераторам. Меня это очень удивило – как подробно он разбирал мои публикации. Но в письме было главное: «Не слишком ли вы торопитесь печатать? – писал он. – Надо торопиться работать, трудиться…» – был его совет.

«Не слишком ли торопитесь?» Почему дело обстоит так, что дагестанского или якутского писателя сразу принимают в члены Союза писателей СССР? Пусть он сначала проявит свое

лицо в родных местах, получит признание народа. Раньше писатели шли на бедность ради поэзии, а сейчас бедные сразу хотят быть богатыми через поэзию.

Отношение к поэтам сейчас изменилось, чиновников стало много. Раньше Константин Симонов сам звонил или телеграмму давал начинающему автору. Это вдохновляло.

Поэзия – интимное понятие. Поэзия – не парад, со стихами человек уединяется, хочет побыть наедине с собой. И со словом. А у нас в поэзии митинговая любовь и телефонные поцелуи.

На встречах с избирателями я говорю о перестройке, об искусстве, о поэзии, а меня спрашивают, когда завезут колбасу и когда будет водопровод. Понимаю их, своих избирателей, задача перестройки – дать людям и кусок хлеба, и честное, искреннее слово правды. Здесь надо уметь совместительствовать. И хлеб важен, и лира необходима. Без хлеба поэзия может жить, но хлеб без поэзии – увы…

В аэропорту – при прощании

– Сейчас я закончил книгу под названием «Концерт». Жизнь – концерт, мир – концерт, история – концерт. Здесь и скрипки, и рояль, и рок-музыка, и орган… Я помню, что в последний предвоенный день, в субботу 21 июня 1941 года, по радио был большой концерт. Песни, музыка, мажор… А на границах уже высаживались немецкие десанты. И начался концерт войны, пляска смерти. По всей Европе рыли могилы и пели последние песни. Кодовое название одного из наших наступлений было «Концерт». Название книги можно принять за шутку, если бы не было настоящих «живых» концертов в фашистских лагерях смерти, в колымских лагерях.

Современная жизнь порой мне кажется непрекращающимся концертом. Развеселым, трагическим, будничным, одурманивающим. Читал я как-то эту поэму в одной аудитории. И меня спросили: «Почему в ней ничего нет о концертах Пугачевой, рок-музыки?» Я не знал – то ли смеяться, то ли плакать?

Мне кажется иногда, что нынешняя нестабильность, эскапада перемен, сменяемость эпох, личностей – все, что творится сейчас на наших глазах, – это тоже некий великий вселенский несмолкаемый концерт, действо с трагическими нотами. Труба, балалайка, орган… Одно возносится, другое – в пропасть.

Чем закончится этот великий концерт нашего бытия – знать бы.

Октябрь 1987

23 сентября 2011 года в центре Москвы, в доме № 27/5 на Тверской, где жил Расул Гамзатов, когда приезжал в столицу, была открыта мемориальная доска поэту.

Несмотря на сильный дождь, который сопровождал всю церемонию, люди подходили и подходили, привлеченные знакомыми строчками стихов, озвученными голосом Марка Бернеса:

Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Глава 6. Исповедь режиссера «Агонии» Элема Климова

«Памятника мне не надо»

Он был замкнутым, закрепощенным, закрытым, но при всем при этом зачарованным человеком. Все его фильмы – а их, всенародных, всепрокатных, всего-то пять-шесть – известны. Он был зачарован и пленен киноискусством. А еще ослеплен высокой и верной любовью к единственной своей женщине Ларисе Шепитько. До тошноты мечтал об экранизации булгаковской книги «Мастер и Маргарита». Его считали неудобным, тяжелым, странным… А он был всего лишь… гениальной личностью. Или почти гениальной. Интроверт, рожденный под знаком Рака. Максималист в творчестве и быту, он жил на пределе человеческих сил. После своих звездных фильмов, на пике успешной карьеры, на посту главного вожака Союза кинематографистов, в лучах огромной зрительской любви Элем Климов ушел… То есть затих, замолчал на много-много лет, а если конкретнее, на две эпохи. Он во многом разочаровался. Полагал, что ему уже нечего делать в кино, не занимался общественными делами, не суетился, не мельтешил, как многие. Не писал книг-воспоминаний, не общался с журналистами. Он оставался самим собой: не мчался за жизнью сломя голову, «не думал о секундах свысока». Иногда выходил на люди, сидел свадебным генералом на каком-то званом мероприятии, не желая обижать отказом именитых друзей. Растил сына Антона и с братом Германом писал сценарии. Но все больше уходил в себя.

И вот внезапный, и уже окончательный, уход от всего и от всех 26 октября 2003 года. Но Троекуровское кладбище приняло только его плоть. А главное и вечное – его душа, созданные им ленты, в которых он ставил невозможные задачи, пытаясь ответить на проклятые вопросы жизни и смерти, – с нами.

Мне повезло: я общался с Элемом Германовичем. У него дома, в Госкино, на каких-то вечерах. Последний раз – в Большом театре на вручении премии «Триумф». Однажды мы провели в работе трое суток. Разговаривали и днем, и ночью. Получилось «интервью жизни», огромное, на 50 страниц. Почти мемуары. Привожу отрывки из наших бесед.

Порой не на что было жить

– Я принадлежу к малочисленному поколению режиссеров кино, которое заявило о себе в начале 60-х: Тарковский, Шукшин, Шепитько, Иоселиани, братья Шенгелая, Параджанов, Кончаловский, то есть к тем, кто успел сделать свои первые и вторые фильмы, успел как бы пролезть в узкую историческую щель во времена кратковременного и странно противоречивого нашего ренессанса. Одна из моих первых картин называлась «Похождения зубного врача», фильм о судьбе таланта – извечно сложной судьбе. «Разве может быть в нашей стране сложная судьба у талантливого человека? – заявили мне. – Это опорочивание, оскорбление нашего строя». Тогда же я познакомился еще с одним выражением – «киноконтра». Так, не успев еще твердо встать на ноги, я уже окончательно попал в черный список, где пребывал отнюдь не в гордом одиночестве. Моих соседей по этому списку знает теперь весь мир, они – гордость нашего искусства.

В то же время стала заполняться пресловутая «полка», то есть появились запрещенные и полузапрещенные фильмы. Одним из них оказалась и моя картина о враче. Сколько же погибло замыслов, сколько сценариев не дали снять, сколько сломалось судеб! Это было страшно, потому что ты как бы лишался будущего. Или ты должен был приспосабливаться, изменять своим принципам. Некоторые так и поступали, предавали себя. Они по приказу начальства резали ленту, перемонтировали ее, сокращали, переозвучивали. Другие не резали, не шли на уступки. Конечно, с соответствующими последствиями для себя.

Что нас спасало тогда, что помогало выстоять? Одним словом не ответишь, да и у каждого это было по-своему. Мне повезло, что рядом со мной была Лариса Шепитько, у которой тоже все складывалось не лучшим образом. Два режиссера в семье, а нам порой не на что было жить. Постоянно брали в долг. Под будущие картины. А потом, когда этих будущих картин совсем не стало видно, нам перестали и в долг давать.

Лариса предсказала свою смерть

– Лариса ушла из жизни, находясь на вершине своей славы. Она только что пережила всемирный успех «Восхождения», ей разрешили снимать «Прощание с Матёрой», хотя отношение руководства к повести было тогда негативное. Потребовались большой дипломатический дар, которым она обладала сполна, весь ее ум, обаяние, чтобы добиться этой работы.

Смерть Ларисы была ужасна. Пять членов съемочной группы попали вместе с ней в автомобильную катастрофу на Ленинградском шоссе, неподалеку от Калинина[6]. Никто не выжил. Мне тогда предложили продолжить работу Ларисы. Я не мог отказаться. Это и помогло хоть как-то пережить огромное горе. Через неделю после похорон мы приехали на место съемок. Что делать? Как делать? Вначале попытались подражать. Одну сцену сняли так, другую. Поняли, что это не путь, надо находить свой подход к материалу, писать свой сценарий. По ночам мы с братом работали над ним, днем шли съемки. Погода ухудшалась, лето кончалось, шли дожди, неудачной была и осень. Доснимали до снега. Нам дали паузу до следующей весны, и в эту паузу мы сделали маленький фильм «Лариса». Потом закончили и основную картину. Мы решили назвать ее «Прощание». Мы прощались с друзьями, а я и с родным человеком.

Творческая судьба Ларисы уникальна. Редчайший случай в истории кино, чтобы на режиссерский факультет приняли молодого человека, да еще девушку семнадцати лет, сразу после десятилетки. И к кому?! К Довженко, выдающемуся мастеру! Вот интуиция! Как он почувствовал ее, каким образом?! Еще на вступительных экзаменах. Он опекал ее, как родной отец, и Лариса обожала Довженко, до последних лет жизни его боготворила.

Лариса была человеком предельной честности, озаренности и истовым художником. Поэтому не каждый чувствовал себя рядом с ней уютно. Но не было в ней никакой фанаберии, гениальничания, хотя и скромницей не прикидывалась. Она ведь тоже не сразу нашла себя, шла через преграды, спотыкания, пробы, но к своему «Восхождению» двигалась как к высокому и вечному. Не случись той трагедии, я уверен, она поднялась бы на следующую ступень своего творчества. Ведь она сама себя созидала. Напряженная жизнь духа меняла ее и внешне. С каждым годом она становилась все прекраснее. Но и сама предсказала себе, когда кончится ее земная юдоль: в 41 с половиной год. Она не раз говорила: «Меня скоро не будет, я скоро умру». Так и вышло. Перед выездом в экспедицию на Селигер прощалась с друзьями навсегда. Ей был 41 с половиной.

[6] Калинин – бывшее название Твери (с 1931 по 1990 год).

«Агонию» разрешили через 10 лет после первого показа

– На «Агонию» меня подбил Иван Александрович Пырьев. Возможно, с подачи нового председателя Госкино СССР Ермаша. После скандально-полузапрещенного «Зубного врача…» он позвал меня к себе и со всей присущей ему прямотой заявил: «Ты понимаешь, Елем (он так меня называл), что тебе теперь до-о-олго не дадут снимать?» – «Что делать?» – «Приближается пятидесятилетие советской власти, тебе надо сделать юбилейный фильм». – «Не умею делать юбилейных фильмов и не научусь никогда». – Ты вот что, не горячись и прочти пьесу Алексея Толстого «Заговор императрицы». Я прочел и говорю: «Извините, не хочу обижать автора, но пьеса написана вблизи событий, в угоду обывательскому пониманию истории». – «Хорошо, – настаивал Пырьев, – возьми тома протоколов допросов комиссии Временного правительства, в которой работал Александр Блок. И Распутина, Распутина Гришку там не пропусти». Я прочел эти документы и понял, что у меня в руках удивительный материал.

Началась работа над сценарием, но от съемок нас отделяло еще семь лет. За это время нас дважды закрывали. Почему? Может, потому, что мы допускали неточности в пользу образного решения, иногда умышленно отступали от факта, может, у начальства в тот день голова болела, и оно по нашим головам било. Вот, скажем, сцена убийства Распутина, известная по воспоминаниям самих убийц. Это преступление – безумная ночь русской истории, целая эпопея. Только этой ночи можно было посвятить целый фильм. Имея подлинные фотографии юсуповского подвала, отделанного, как дорогая бонбоньерка, мы тем не менее сделали его более аскетичным, более средневековым. Чтобы у зрителей возникла ассоциация с чередой дворцовых политических убийств, преступлений во имя власти. Разрешительное удостоверение на показ «Агонии» мы получили 12 апреля 1975 года. Некоторое время все шло нормально, а потом появился тревожный слух: что-то с картиной неладно. Однажды ко мне подошел Тарковский и попросил показать фильм. Я организовал ему просмотр на «Мосфильме». Зал был свободен только в 8 утра, но Андрей пришел. После просмотра сказал: «Ты погиб». – «Почему?» – «Ты погиб потому, что „Агония“ далека от стереотипов советского исторического фильма, разрушение которых тебе не простят». Он оказался прав: на экраны страны «Агония» вышла только весной 1985 года, то есть через 10 лет после показа на закрытии Московского кинофестиваля. За границу ленту продавали, у нас не пускали. Выходило, что нашему зрителю доверяли меньше, чем зарубежному. А между тем в одной из латиноамериканских стран «Агония» была арестована за «пропаганду революционных идей». Цинизм был еще в том, что действовали по принципу «все на продажу, все на валюту». У нас запрет шел, насколько мне было известно, от Суслова, Гришина и Косыгина. Преобладали «дачные мнения», дескать, слишком много Распутина, царь не тот (не карикатурен), нет роли партии большевиков. Прогноз Тарковского оказался верен.

Таковы перипетии одной работы, которой я отдал почти 20 лет своей жизни.

Дочь Косыгина укоряла в упоминании имени отца

В моем архиве хранится переписка Э. Климова с дочерью тогдашнего предсовмина А. Н. Косыгина Л. А. Гвишиани-Косыгиной. Она укоряла режиссера в упоминании имени ее отца как гонителя «Агонии», требовала подтверждений, источников, уверяя, что такого быть не могло. Климов ответил, что расправы над произведениями искусства производились от имени власти, и было это сугубо анонимно, лишь пальцем тыкали куда-то вверх. Работников искусства наверху не принимали, не объясняли «ошибок». А спускалось только мнение. «Я помню, – пишет Климов адресату, – что понедельник был самым тяжелым, черным днем в жизни Госкино, ибо чаще всего именно в этот день раздавались звонки после субботне-воскресных дачных просмотров. К вашему отцу я относился с симпатией. Тем не менее мне горько было услышать, что он высказал резкое отношение к нашему фильму на заседании Президиума Совета министров».

Однажды Элем Германович заметил в ответ на мой вопрос, почему бы не назвать имена гонителей-хулителей публично: «А зачем убивать людей? Самым совестливым из них, наверное, и так нелегко. А иные просто ничего не поняли из того, что происходит в нашем обществе. Только обозлились. Сужу об этом, потому что иногда приходится с ними сталкиваться, видеть глаза. В них ненависть. Но и в их грудь не хочется вбивать осиновый кол, называть имена, клеймить».

К. Кардинале и Ф. Кристальди предложили снимать «мастера…»

– Наверное, почти все наши режиссеры мечтали экранизировать булгаковский роман. Однажды на короткий момент это стало почти реальностью. Когда у нас снимался советско-итальянский фильм «Красная палатка», я подружился с Клаудиа Кардинале и ее мужем продюсером Франко Кристальди. Они-то и предложили идею странного сочетания двух режиссеров в фильме «Мастер и Маргарита». Линию Христа должен был снимать Федерико Феллини, а советскую – тогда мало кому известный Элем Климов. Роль Маргариты, конечно, оставалась за Кардинале… Проект, как вспышка молнии, просуществовал недолго, его осуществление тогда казалось фантастикой.

Хотите забавный случай про съемки «Матёры»? На озере Селигер готовились снимать сцену сельского праздника, танцы, песни. В отдаленную деревню послали ассистентов отбирать людей для массовки. Собрали бабушек, женщин и сказали: «Откройте сундуки, достаньте свои старинные одежды, будет съемка. Стоит пять рублей». Пришли наши разряженные бабушки и все принесли по пятерке. Раз в кино снимают, за это платить надо, думали они, ведь это большая честь. Разве они знали, что в то время в Америке участие в массовке оплачивалось ста долларами и бесплатным обедом.

– *Элем Германович, я слышал, что вам памятник при жизни хотели поставить. Неужели правда?*

– А… это было после «Агонии». Она уже «отдыхала» на полке, но надежды все теплились. Меня позвали в большой-большой кабинет. Хозяин кабинета, сочувственно ко мне относившийся и знавший мое положение лучше меня, сказал: «Вот что, а не сделать ли тебе юбилейный фильм к 60-летию Февральской революции с переходом в Октябрьскую, короче, о 17-м годе. Сделаешь – памятник поставим при жизни». Я спрашиваю: «А до иконы можно дотронуться?» (до Ленина. – *Ф. М.)* – «Нет, что ты, нельзя». – «А хотя бы пыль стереть можно?» – «Ни в коем случае». – «А правду о тех событиях показать, исторические персонажи ввести?» – «Нет, не стоит». – «Ну, – говорю, – тогда и памятника мне вашего не надо».

1988

Глава 7. Сергей Михалков: шлюзы, а не кингстоны

Подождите меня, я скоро вернусь!..

Из окон его квартиры на шестом этаже виден старинный особняк. В клумбово-скамеечном полукружье – сидящая фигура Льва Толстого. Когда смотришь вниз из-за гардин, упираешься взглядом в классика.

…Неожиданно его вызвали в высокую инстанцию, очень высокую, и мы прервали наш разговор. Два часа просидел я в его рабочем кабинете. Но времени даром не терял.

Грамота о присвоении звания Героя Социалистического Труда. Подпись: Н. Подгорный. Под стеклом – сверкающие в утренних лучах медали, знаки отличия. Любой нумизмат умер бы от зависти.

Портреты писателя маслом. Фотография: создатели Государственного гимна Советского Союза. Среди них – мой собеседник. В овальной рамке Лафонтен, чуть поодаль – Иван Крылов.

Резьба по кости на сюжеты его басен. На мамонтовом бивне. Бивню – 10 тысяч лет. Басням – 40 лет. «Дальновидная сорока», «Енот, да не тот», «Нужный Осел».

Картины художника П. Кончаловского – его тестя, В. Сурикова – деда жены.

На письменном столе – фотография Ленина.



Сергей Михалков

Грамоты о почетном гражданстве Пятигорска, Георгиевска, Габрова…
Фотографии улыбающихся, знаменитых на весь белый свет сыновей-режиссеров.

Книжные шкафы. Собрания его сочинений, объемистые сборники, тонюсенькие копеечные малышки. Прикинул общий тираж: почти двести миллионов экземпляров. Прикинул…

Родословное древо. Истоки – в XV веке. Это не шутки. Одна из древнейших русских фамилий. Воеводы, служивые люди, дьяки, стольники, воины – защитники отечества. Дворянство.

В углу – огромные дорожные чемоданы. Хозяин их легок на подъем. Сегодня Грозный, завтра Париж.

Над дверью элементарная железная подкова. Символ удачи? Возможно, помогает.

– В этом кресле, – говорит Полина Николаевна, она ведет дом давным-давно и помнит хозяина всегда знаменитым, – любит сидеть наш классик…

Сергей Владимирович Михалков – человек-эпоха. Его биография невероятна. Я не знаю другого, чья жизнь была бы так объемна и многообразна…

Как распутать перипетии человеческой судьбы?! Тронул тонюсенькую ниточку, и потянулось: великое, смешное, трагическое… Сиротство, страсть к литературе, безответные чувства к русоволосой и голубоглазой, звонок из ЦК ВКП(б). Сталин, трагедии, знаменитые шальные друзья…

Невозможно представить наше время, да что там наше – последние полвека, без двухметровой, гвардейской фигуры дяди Степы – Михалкова. И знать стихи Михалкова, и не знать их – давно уже стало моветоном. Их читали наши бабушки и дедушки, их будут заучивать наши правнучки и правнуки. «Дядя Степа», «Дело было вечером, делать было нечего», «Упрямый Фома» – понятия, навечно прописанные в детской литературе.

Остроумный, невозмутимый, доверчивый, философски на все смотрящий с высоты своего роста и величия – Сергей Михалков. Я был поражен, как однажды он открывал крупнейший международный литературный форум. Публика чинно расселась: наши, не наши, молодые, уходящие, начинающие, великие; повынимали из карманов и дипломатов золоченые «Паркеры» и двухкопеечные карандаши; деловито пристроили наушники, включили каналы синхронного перевода, замерли и вдруг:

– Начнем, ребята!

Отец, сын и слуга своего времени, он был и прямолинеен, и парадоксален. Волей-неволей он готовил и нынешние перемены – ну хотя бы своим «Фитилем», одним из оазисов доперестроечного времени.

Он ошибался, но находил мужество не скрывать этого. Да, ошибался, точнее, сомневался, правильно ли поступал в том или ином случае. Успокаивало то, что знал: если поступил бы иначе, его бы просто не поняли. Наивно? Да. Но честно. Не скрывал. В дни позорной вакханалии вокруг имени Пастернака был с большинством. Одобрял, голосовал. Потом понял, что не надо было так поступать. Некоторые до сих пор не поняли.

Добрый по натуре, участливый, он всегда считал себя обязанным доброжелательно вмешиваться в людские судьбы, если верил, что человек несправедливо обижен или ему необходима немедленная помощь. Использовал для этого все: служебное положение, депутатские возможности, свою популярность, имя, наконец. Лекарства, квартиры, издания, членство, билеты, выезды… Помочь, вызволить, облегчить… О чем он только не хлопотал! «Вертушка»[7] ему была не нужна: он снимал трубку, называл себя, и с ним разговаривали министры, недоступные для простого смертного столоначальники. Он никогда не робел перед вышестоящими чинами, разговаривал с ними независимо – за его плечами была богатая школа общения с людьми, облеченными властью.

[7] «Вертушка» – закрытая система партийной и правительственной телефонной связи в СССР, важный статусный символ для советской номенклатуры.

Сергей Владимирович Михалков уверенно, неторопливо шагал по Москве. По жизни. По литературе. Его все знали и узнавали. Сверхпопулярность?

Его можно любить. Можно ненавидеть. Он прощал. Хотел снисходительности и к себе. Он нес нелегкую ношу служения своему времени. Его судьба была счастливой и драматической.

…Раздался звонок в дверь. Вернулся хозяин дома.

Мои вопросы к Сергею Михалкову были самыми элементарными: «когда?», «с кем?», «где?», «за что?», «почему?», «знал ли?», «участвовал ли?», «сомневался ли?», «верил ли?». Меня интересовали ответы. А комментарии и вопросы к ответам – за читателями.

Цепь случайностей

– Однажды на пресс-конференции в Италии меня спросили: «Почему вы, известный при Сталине человек, уцелели? Давид Кугультинов был репрессирован, а вы – нет?» Я ответил: «Даже самые злостные браконьеры не могут отстрелять всех птиц».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.